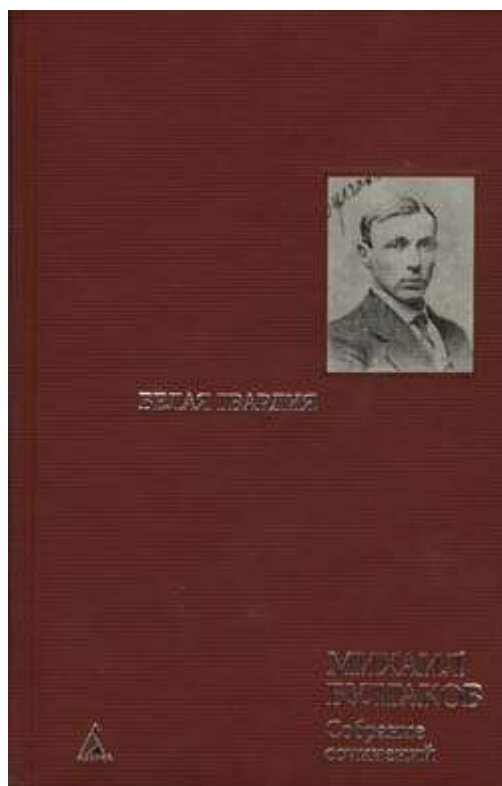


**Михаил Афанасьевич Булгаков**  
**Окончание романа «Белая гвардия». Ранняя редакция**

**Серия: *Белая гвардия* – 2**



*«Т. 2: Белая гвардия: Гражданская война в России»: Азбука-классика; СПб; 2002*  
*ISBN 5-352-00139-3; 5-352-00141-5 (т. 2)*

**Михаил Афанасьевич Булгаков**  
**ОКОНЧАНИЕ РОМАНА «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»**  
**Ранняя редакция**

19

– Шаркни ножкой, скажи дяде: здравствуй, дядя, – научила Елена, наклоняясь.  
– Драсту, дядя, – недоверчиво и вздохнув сказал Петька Щеглов Мышлаевскому.  
– Здравствуй, – мрачно ответил ему Мышлаевский, потом покосился вниз и добавил: – Судя по твоей физиономии, ты большой шалун.

Петька Щеглов тотчас же взялся за юбку Елены, засопел, губы выпятил кувшинчиком, нахмурился.

– Ну балбес, ну балбес длинный, чего ребенка дразнишь?

– Чиво дразнишь, – выговорил и Петька неприязненно.

Шервинский, Карась, сама Елена захохотали, а Петька спрятался за юбку, так что выглядывала левая его нога в тупоносом ботинке и праздничной лиловой штанине.

– Не слушай их, не слушай, маленький, они нехорошие, – говорила Елена, извлекая Петьку из складок, – гляди на елку, смотри, какие огоньки.

Петька вылез из юбки, глаза его устремились по направлению маленьких огней. От них вся гостиная сверкала, переливалась, источала запах леса, сверкал дед.

– Дать ему апельсин, – растрогался Мышлаевский, – дать.

– Потом апельсин, – распорядилась Елена, – а теперь танцевать давайте. Все. Танцевать хочешь? Ну, ладно.

Колыхнулась портьера, и в гостиную вышел Турбин. Он был в смокинге, открывавшем широкую белую грудь, с черными запонками. Голова его, наголо остриженная во время тифа, чуть-чуть начала обрастать, гладко выбритое лицо было лимонного оттенка, он опирался на палку. Блестящие глаза его еще больше заблестели от елочных огней. Следом за Турбиным явился Лариосик, и тоже в смокинге. И главное, добытом неизвестно где; всем отлично было известно, что в багаже Лариосика этого одеяния не было. Как большой хомут на Лариосиковой шее сидел отложной крахмальный воротник с лентой черной бабочкой, и из рукавов вылезали твердые манжеты с запонками в виде лошадиной морды с хлыстом. Лариосик целых два дня летал где-то по городу и достал все-таки смокинг, узнав, что это дело принципиальное. Петлюра – каналья. Пусть хоть десять Петлюр будет в городе, а здесь, в стенах Анны Владимировны, он не властен. Пусть стены еще пахнут формалином, пусть из-за этого чертова формалина провалилась первая елка в сочельник, не провалится вторая, и последняя, сегодня – в крещенский сочельник. Она будет, она есть, и вот он, Турбин, встал вчера, желтый. И рана его заживает чудесно. Сверхъестественно. Это даже Янчевский сказал, а он, все видевший на своем веку, знает, что сверхъестественного не бывает в жизни. Ибо все в ней сверхъестественно.

На Мышлаевском смокинг сидит, как не на каждом сядет. И не поймешь, в чем дело. И не нов, и пластрон не первоклассный, а между тем все как-то к месту. Вероятно, штаны первоклассные. Вот, например, Лариосику трудно как-то в смокинге, выражение лица трудно как-то подобрать к смокингу, и все время кажется, что подтяжки выскочат в прорез жилета, а Мышлаевский ворочается свободно, размашисто, никаких выражений лица не устраивает, а между тем его хоть в кинематографе снимай. И портит его только одно. Не свойственная Мышлаевскому дума, довольно тревожная. Она улеглась в трех складках на патрицианском лбу и в беспокойных глазах. И так: то оживится Мышлаевский, то вдруг нахмурится и задумается. В чем дело – неизвестно. Во всяком случае, когда Николка на печке в столовой изобразил свежую своевременную надпись китайской тушью:

*Пор. Мышлаевский сделал попытку воспитать ребенка в крещенский сочельник 1919 года. Он хороший семьянин, –*

Мышлаевскому эта надпись не понравилась. Он нахмурился, как облако, пожевал губами.

– Ты что-то много последнее время острить стал.

Николка густо покраснелся.

– Если, Витенька, тебе не нравится, я сотру. Ты обиделся?

– Нет, не обиделся, а просто интересуюсь, чего это ты распрыгался так. Что-то больно весел. Манжетки выставил... на жениха похож.

Николка расцвел малиновым огнем, и глаза его утонули в озере смущения.

– На Мало-Провальную слишком часто ходишь, – продолжал Мышлаевский добивать противника шестидюймовыми снарядами, – это, впрочем, хорошо. Рыцарем нужно быть, поддерживай турбинские традиции.

– Не понимаю, Витенька, про что ты говоришь, – забормотал Николка, – на какую такую Провальную?..

– Вот такую самую... Иди встречай.

Звонок протрещал в передней высоко и в сердце Николки. В гостиной оборвалась на клавишах фриска из 2-й рапсодии под пальцами Елены.

– Очень рада. Очень. Позвольте же вас познакомить. Все белогвардейцы.

– У вас так нагадно, я не знала. Пгамо смутишься...

– Что вы. Не обращайтесь внимания. Только свои. Смокинги – это они принципиально. По поводу Петлюры.

– Социальной революции, – вставил Мышлаевский.

Ирина Най, вся в черном и траурном, худая, блекла рядом с пышной Еленой, отливающей золотом, и в елочных огнях казалась креповой свечой. Николка без толку мыкался где-то сзади представляющихся. Ему казалось, что руки и ноги у него привинчены неудобно и неудачно и некуда их пристроить. Воротничок резал шею. Он был в студенческом, еще на Карасе не было смокинга, а визитка и полосатые брюки, благодаря которым плотный Карась был похож на удачливого подрядчика. И Шервинский был не в смокинге. Но зато Шервинский один мог затмить всех в смокингах. Шервинский во фраке. Но зато уже фрак. Будьте благонадежны. Во-первых, правая сторона пластрона у него гофрирована, с вашего разрешения, как бумажная оборка на окороке, в полулунии жилета вставлено что-то сверкающее шелковыми красками, похожее на звездный флаг величественных Соединенных Штатов. Запонки бриллиантовые, каждая – карат. Значит, 1/2 карата. Брюки заутюжены и вздернуты, так что видны ажурные чулки. И, наконец, туфли открытые с черными бантами. Будьте покойны. Через месяц будет дебютировать в Оперном, невзирая на этого мужлана с его оравой. Демона будет петь. Re...la...fa...re! Экм... Чем он хорош... Че-е-е-ем.

– Голос действительно поразительный.

– Как же, я слышала. Мне говогили пго вас. Это вы пели на гетманском вечеге в купеческом.

– Он самый.

– Пожалуйста, спойте. Очень пгошу. Демона.

– Де-мо-на. (Изображение галерки Николкой. Весьма сходно.)

– Говогят, что у вас гоос, как у Баттистини.

– И даже немного хуже.

– Не плачь, дитя... (С галерки.)

– Он не гордый. Споеет.

– Ирина Феликсовна, близко не садитесь<sup>1</sup>. Абсолютно невозможно слушать.

– Его лучше слушать из другой комнаты.

– А еще лучше с другой улицы.

Черными нотными значками, густыми, встал Демон над стогубой клавиатурой и вытеснил Валентина в сторону под розовый абажур. Все равно Валентина скоро убьют и даже уже убили. Будет царить коварный Демон. Но Демон не воцарился, и перешиб его Василиса. На Василисе, конечно, никаких смокингов. И даже ботинки не праздничные, а деловые, обыкновенные. Праздничные ушли на ногах Немоляки в неизвестную тьму.

Василиса, кланяясь направо и налево и приветливо пожимая руки, в особенности Карасю, проследовал, скрипя рантом, прямо к пианино. Елена, солнечно улыбаясь, протянула ему руку, и

<sup>1</sup> – *Ирина Феликсовна, близко не садитесь*. – Кусок текста, начиная с этих слов и кончая словами «в неизвестную тьму», был вычеркнут Булгаковым в гранках. Мы сохранили этот фрагмент текста, чтобы не нарушить последовательность повествования (видимо, автор предполагал внести в текст соответствующие изменения). В других случаях авторская правка нами учтена, но прежний текст отражен в настоящих комментариях.

Василиса, как-то подпрыгнув, приложился к ней. «Черт его знает, Василиса какой-то симпатичный стал после того, как у него деньги поперли, – подумал Николка и мысленно пофилософствовал: – Может быть, деньги мешают быть симпатичным. Вот здесь, например, ни у кого нет денег, и все симпатичные<sup>2</sup>».

Василиса чаю не хочет. Нет, покорнейше благодарит. Очень, очень хорошо. И елочка. Хе, хе. Как это у вас уютно все так, несмотря на такое ужасное время. Э... хе... Нет, покорнейше благодарит. К Ванде Михайловне приехала сестра из деревни, и он должен сейчас же вернуться домой. Он пришел затем, чтобы передать Елене Васильевне письмо. Сейчас открывал ящик в двери, и вот оно. Счел своим долгом. Честь имеет кланяться. Василиса, подпрыгивая, попрощался<sup>3</sup>.

Елена ушла с письмом в спальню<sup>4</sup>.

«Письмо из-за границы. Да неужели? Вот бывают же такие письма. Только возьмешь в руки конверт, а уж знаешь, что там такое<sup>5</sup>. И как оно пришло? Никакие письма не ходят. Даже из Житомира в Город приходится посылать почему-то с оказией. И как все у нас глупо, дико в этой стране. Ведь оказия-то эта самая тоже в поезде едет? Почему же, спрашивается, письма не могут ездить, пропадают? А вот это дошло. Не беспокойтесь, такое письмо Дойдет, найдет адресата. Вар... Варшава. Варшава. Но почерк не Тальберга. Как неприятно сердце бьется».

Хоть на лампе и был абажур, в спальне Елены стало так нехорошо, словно кто-то сдернул цветистый шелк, и резкий свет ударил в глаза и создал хаос укладки. Лицо Елены изменилось, стало похоже на старинное лицо матери, смотревшей из резной рамы. Губы дрогнули, но сложились презрительные складки. Дернула ртом. Вышедший из рваного конверта листок рубчатой серенькой бумаги лежал в пучке света.

*«...Тут только узнала, что ты развелась с мужем. Остроумовы видели Сергея Ивановича в посольстве – он уезжает в Париж вместе с семьей Герц: говорят, что он женится на Лидочке Герц; как странно все делается в этой кутерьме. Я жалею, что ты не уехала. Жаль всех вас, оставшихся в лапах у мужиков. Здесь в газетах, что будто бы Петлюра наступает на Город. Мы надеемся, что немцы его не пустят...»*

В голове у Елены механически прыгал и стучал Николкин марш сквозь стены и дверь, наглухо завешенную Людовиком XIV. Людовик смеялся, откинув руку с тростью, увитой лентами. В дверь стукнула рукоять палки, и Турбин вошел, постукивая. Он покосился на лицо сестры, дернул ртом так же, как и она, и спросил:

– От Тальберга?

Елена помолчала, ей стало стыдно и тяжело. Но потом сейчас же овладела собой и подтолкнула листок Турбину: «От Оли... из Варшавы...» Турбин внимательно вцепился глазами в строчки и забегал, пока не прочитал все до конца, потом еще раз обращение прочитал:

*«Дорогая Леночка, не знаю, дойдет ли...»*

---

<sup>2</sup> Вот здесь, например, ни у кого нет денег, и все симпатичные. – В гранках далее было: «И я, в сущности, симпатичен. Но горе в том, что я некрасив. Эх... Эх...»

Рассуждения о «симпатичных» людях имели принципиальное значение для Булгакова. Их можно найти и в первой редакции романа «Мастер и Маргарита», имевшего первоначальное название «Черный маг».

<sup>3</sup> Василиса, подпрыгивая, попрощался. – Далее в гранках: «...попрощался, на Ирину Най покосился внимательнейшим образом. „Ишь, тоже смотрит, – сурово подумал Николка, – в сущности, и ловелас этот Василиса. Жалко, Ванды нет, небось не посмотрел бы"».

<sup>4</sup> Елена ушла с письмом в спальню. – В гранках: «Елена просит извинения. Пожа-пожа-пожалуйста, – пели разные голоса.

– Никол, играй марш пока.

– Одну секунду».

<sup>5</sup> «Письмо из-за границы... Только возьмешь в руки конверт, а уже знаешь, что там такое». – Ср.: «Письма заграничные... Содержание их мне известно до вскрытия конвертов...» (Из письма Булгакова П.С.Попову, 8 июня 1932 г.).

У него на лице заиграли различные краски. Так – общий тон шафранный, у скул розовато, а глаза из голубых превратились в черные<sup>6</sup>.

– С каким бы удовольствием... – процедил он сквозь зубы, – я б по морде съездил...

– Кому? – спросила Елена и шмыгнула носом, в котором скопились слезы.

– Самому себе, – ответил, изнывая от стыда, доктор Турбин, – за то, что поцеловался тогда с ним.

Елена моментально заплакала.

– Сделай ты мне такое одолжение, – продолжал Турбин, – убери ты к чертовой матери вот эту штуку. – Он рукоятью ткнул в портрет на столе.

Елена подала, всхлипывая, портрет Турбину. Турбин выдрал мгновенно из рамы карточку Сергея Ивановича и разорвал ее в клочья. Елена по-бабьи заревела, тряся плечами, и уткнулась Турбину в крахмальную грудь. Она косо, суеверно, с ужасом поглядывала на коричневую икону, перед которой все еще горела лампадка в золотой решетке.

«Вот помолилась... условие поставила... ну что ж... не сердись... не сердись, Мать Божия», – подумала суеверная Елена. Турбин испугался:

– Тише, ну тише... услышат они, что хорошего?

Но в гостиной не слышали. Пианино под пальцами Николки изрыгало отчаянный марш «Двуглавый Орел»<sup>7</sup>.

---

Елена, напудренная, с подмазанными, поблекшими глазами, вышла в гостиную. Все двинулись к ней. Шервинский выпихнул на середину Петьку Щеглова. Тот, ошеломленный огнями, пляской и неизвестными веселыми людьми, готовый на все, выступил и выложил Елене с таким видом, как будто ему все равно:

– Папа мажет...

– Йодом... (*Шепот суфлера.*)

– Йодом бок, мама пляшет кек-вок.

– Господа!!

---

Ходить можно только до двенадцати часов ночи. Почему – неизвестно. Но до двенадцати. Поэтому ровно в четверть двенадцатого поднялась Ирина Най и стала прощаться. Огни на елке догорели, разогретая хвоя источала лесной дух, на полу блестело в двух местах олово конфет, пахло апельсиновыми корками.

– Приходите, приходите к нам еще, – говорила Елена, – мы все так рады были познакомиться с вами.

– Сейчас мы вас проводим, будьте спокойны, – говорил Мышлаевский, улыбаясь Ирине и косясь на Николку, – кто-нибудь проводит. Я или Федор Николаевич...

Николка побледнел и засопел. «Какая свинья... – подумал он слезливо, – чего он на меня взъелся и портит мне жизнь».

– Или, может быть, Никол Васильевич? – сжалился Мышлаевский. – Никол, ты можешь?.. Или ты будешь хозяйничать?

– Нет, я могу, конечно. Я... – не своим голосом ответил Николка и тотчас же надел фуражку.

---

<sup>6</sup>...а глаза из голубых превратились в черные. – Далее в гранках: «В общем это бывало с доктором Турбиным редко, в общем он был человек мягкий, совершенно излишне мягкий».

<sup>7</sup>...отчаянный марш «Двуглавый Орел». – Далее в гранках: «...и слышался топот ног. Потом долетел взрыв смеха.

– Я на службу поступлю, – растерянно бормотала Елена, давясь слезами.

– А ну тебя со службой, – сипло шептал Турбин».

– Да, я могу... сию минуту... – встрял Лариосик, хотя его никто и не просил, и тотчас начал щурить глаза, разыскивая свою шапку.

«Вот несчастье, Господи... вот несчастье», – подумал Николка и торопливо, оборвав вешалку на шинели, полез в рукава.

– Нет, Ларион, уж Никол проводит, он оделся, – отозвался с колен Мышлаевский, он застегивал пуговицы на серых ботах Ирины Най, – ты, пожалуйста, останься. Ты специалист по разведению спирта. Я спирту принес.

– Я? Ага?.. Да... – в высшей степени изумленно отозвался Лариосик, ни разу в жизни не разводивший спирта.

– Господа, напгасно вы беспокоитесь, я сама дойду. Я нисколько не боюсь.

– Нет уж, это нельзя, – скрепил Мышлаевский, – так мы вас отпустить не можем. А с Николом вы будете как за каменной стеной.

Был ясный, сильный мороз, пустынная улица. Как только они вышли и дверь прогремела сложными запорами под руками Лариосика, глаза Ирины Най провалились в черных кольцах, а лицо побелело; потом брызнул из-за угла свет высокого фонаря, и они миновали дощатый забор, ограждавший двор № 13, и стали подниматься вверх по спуску. Ирина зябко передернула плечами и уткнула подбородок в мех. Николка шагал рядом, мучаясь страшным и непреодолимым: как предложить ей руку. И никак не мог. На язык как будто повесили гирю фунта в два. «Идти так нельзя. Невозможно. А как сказать?.. Позвольте вам... Нет, она, может быть, что-нибудь подумает. И может быть, ей неприятно идти со мной под руку?.. Эх!..»

– Какой мороз, – сказал Николка.

Ирина глянула вверх, где в небе многие звезды и в стороне на скате купола луна над потухшей семинарией на далеких горах, ответила:

– Очень. Я боюсь, что вы замегзнете.

«На тебе. На, – подумал тяжко Николка, – не только не может быть и речи о том, чтобы взять ее под руку, но ей даже неприятно, что я с ней пошел. Иначе никак нельзя истолковать такой намек...»

Ирина тут же поскользнулась, крикнула «ай» и ухватила за рукав шинели. Николка захлебнулся. Но такой случай все-таки не пропустил. Ведь уж дураком нужно быть. Он сказал:

– Позвольте вас под руку...

– А где ваши пегчатки?.. Вы замегзнете... Не хочу.

Николка побледнел и твердо поклялся звезде Венере: «Приду и тотчас же застрелюсь. Конечно. Позор».

– Я забыл перчатки под зеркалом...

Тут ее глаза оказались поближе возле него, и он убедился, что в этих глазах не только чернота звездной ночи и уже тающий траур по картавому полковнику, но лукавство и смех. Она сама взяла правой рукой его правую руку, продернула ее через свою левую, кисть его всунула в свою муфту, уложила рядом со своей и добавила загадочные слова, над которыми Николка продумал целых двенадцать минут до самой Мало-Провальной:

– Нужно быть половчей...

«Царевна... На что я надеюсь? Будущее мое темно и безнадежно. Я неловок. И университета еще даже не начинал... Красавица...» – думал Никол. И никакой красавицей Ирина Най вовсе не была. Обыкновенная миловидная девушка с черными глазами. Правда, стройная, да еще рот недурен, правилен, волосы блестящие, черные.

У флигеля, в первом ярусе таинственного сада, у темной двери остановились. Луна где-то вырезывалась за переплетом деревьев, и снег был пятнами, то черный, то фиолетовый, то белый. Во флигеле все окошки были черны, кроме одного, светящегося уютным огнем. Ирина прислонилась к черной двери, откинула голову и смотрела на Николку, как будто чего-то ждала. Николка в отчаянии, что он, «о, глупый», за двадцать минут ничего ровно не сумел ей сказать, в отчаянии, что сейчас она уйдет от него в дверь, в этот момент, как раз когда какие-то важные слова складываются у него в никуда не годной голове, осмелел до отчаяния, сам залез рукой в муфту и искал там руку, в великом изумлении убедившись, что эта рука, которая всю дорогу была в перчатке, теперь оказывается без перчатки. Кругом была совершенная тишина. Город спал.

– Идите, – сказала Ирина Най очень негромко, – идите, а то вас петлюговцы агестуют.

– Ну и пусть, – искренне ответил Николка, – пусть.

– Нет, не пусть. Не пусть. – Она помолчала. – Мне будет жалко...

– Жал-ко?.. А?.. – И он сжал руку в муфте сильнее.

Тогда Ирина высвободила руку вместе с муфтой, так с муфтой и положила ему на плечо. Глаза ее сделались чрезвычайно большими, как черные цветы, как показалось Николке, качнула Николку так, что он прикоснулся пуговицами с орлами к бархату шубки, вздохнула и поцеловала его в самые губы.

– Может быть, вы хгабгый, но такой неповоротливый...

Тут Николка, чувствуя, что он стал безумно храбрым, отчаянным и очень поворотливым, охватил Най и поцеловал в губы. Ирина Най коварно закинула правую руку назад и, не открывая глаз, ухитрилась позвонить. И тотчас шаги и кашель матери послышались во флигеле, и дрогнула дверь... Николкины руки разжались.

– Завтга пгиходите, – зашептала Най, – вечегом. А сейчас уходите, уходите...

По совершенно пустым улицам, хрустя, вернулся Николка, и почему-то не по тротуару, а по мостовой посредине, близ рельсов трамвая. Он шел как пьяный, расстегнув шинель, заломив фуражку, чувствуя, что мороз так и щиплет уши. В голове и на языке гудела веселая фриска из рапсодии, а ноги шли сами. Город был бел, ослеплен луной, и тьма-тьмушая звезд красовалась над головой. Ни один черт их не подсчитает. Да и надобности нет считать их, знать по именам. Кажется, сидела среди них одна пастушеская вечерняя Венера, да еще мерцал безумно далекий, зловещий и красный Марс.

---

Рана Турбина заживала сверхъестественно. Круглые дырки перестали источать гной. Затем они стали зарастать. Турбин перестал носить разрезанные рубахи, уменьшилась повязка, а 24-го января Николка спустился по лестнице, все двери прошел и снял заклею с таблицы. Таблица выглянула на свет Божий. Ясным ровным молочным январским днем в кабинете Турбина горел синим лохматым пламенем примус; Турбин возился в белом кабинетике, звеня инструментами, пересматривая и перекладывая какие-то склянки. Вечер 24-го января прошел мирно и тихо, и никто не появился из пациентов. Турбин походил по гостиной, очень часто поглядывая на карманные часы, в восемь часов вечера оделся и ушел из квартиры, неопределенно сказав:

– Вернусь в половине десятого или в одиннадцать.

И вечер пошел своим порядком. Понятное дело, появился и Шервинский и Мышлаевский. Карась бывал редко. Карась решил плюнуть на все и, запасшись студенческим документом, а офицерские запрятав куда-то так что сам черт бы их не нашел, ухитрился поступить в петлюровскую продовольственную управу. Изредка Карась появлялся в турбинском убежище и рассказывал, какой нехороший украинский язык.

– Какой он украинский?.. – сипел Мышлаевский. – Никогда на таком языке никакой дьявол не говорил. Это его твой этот, как его, Винниченко выдумал...

– Почему он мой?.. – протестовал Карась. – Я ничего общего с ним не желаю иметь.

– И не имей, – говорил Мышлаевский, выставляя ноги на середину комнаты, – подозрительная личность этот Винниченко, а ты джентльмен.

– Выбачайте, панове, – говорил по-украински Николка и делал при этом маленькие глаза.

Если при этом присутствовал Турбин, он говорил:

– Я тебя покорнейше прошу не говорить на этом языке.

– Выбачаюсь, – отвечал Николка.

Потом с Николкой происходила резкая перемена. Он переставал шутить, становился серьезным и выбирался к себе в комнату; там дольше, чем обыкновенно, делал туалет, там же надевал пальто и уходил, стараясь сделать это незаметно. Но, несмотря на все это, все прекрасно знали, куда направляется Николка. Да и знать это было нетрудно. Николка приобрел страсть к крахмальным воротникам. Щеткой чистил локти, которые у него вечно были в мелу, и один раз неожиданно побрился, взяв для этой цели бритву у Лариосика. Вежливый и отзывчивый Лариосик охотно снабдил Николку всеми принадлежностями, необходимыми для бритья, но не удержался, чтобы не сказать, щурясь и моргая:

– Ты, Николка, светлый, тебе, в сущности, можно и не бриться. Ничего не заметно. А щеку

ты подпирай языком.»

Николка, косясь в зеркало, подпер густо намыленную щеку языком, и тотчас по щеке, смешиваясь с белым мылом, потекла вишневая кровь.

Итак, братья Турбины большею частью отсутствовали по вечерам. Мышлаевский же и Шервинский прочно обосновались в убежище и ночевали почти всякую ночь. Благодаря присутствию Мышлаевского все трапезы, как дневные, так и вечерние, превратились в закусывания, при которых горячие блюда были второстепенными добавлениями. В фокусе стали селедки под острым соусом, огурцы и лук, и в столовой в конце концов утвердился прочный запах небольшого и уютного ресторана.

– Ты, Виктор, такую массу водки пьешь, что у тебя склероз сделается, – говорила золотая Елена, плавая в струях синего табачного дыма.

– Шампанского для нас еще Петлюра не припас, – хрипел Мышлаевский, исчезая в облаках ядовитого дыма, – вся надежда на большевиков; теперь, может, они напоят.

---

Глубокими вечерами или ночью, когда уже все сходились и Турбин, таинственно погруженный в свои склянки и бумаги, сидел, окрашенный зеленым светом, у себя в спальне, из комнаты Николки доносились гитарные звоны-переливы, и часто, сидя по-турецки на кровати, слушал Николка, как Лариосик декламирует ему свои стихи.

*И падает время,  
И падает время... –*

глухим голосом читал Лариосик, выкатывая глаза, –

*Как капли в пещере...*

– Очень хорошо, Ларион, очень, – одобрял Николка.

Да, время падало совершенно незаметно, как капли в пещере. Пролетали белые дни то с вертящимися метелями, то закованные в белый мороз, медленно протекали жаркие вечера. Из гостиной часто слышалось медовое пение Демона:

*К тебе я стану прилетать...*

Демон каждый вечер в бобровой шапке и шубе приезжал в трамвае из далекого Дикого переулка. И пел. Голос его становился все лучше и лучше, как будто бы даже с каждым днем.

«В сущности, дрянь малый, беспринципный, – думала Елена в тихой печали, глядя в окно на оперные огни, – но голос изумительный, Бог его знает, приспособленный. Нет, этот не пропадет, будьте покойны».

Огни подмигивали ложно, как будто стараясь уверить, что все хорошо и спокойно в Городе, что Петлюра – это так, вздор – Петурра, а соль вся здесь, в теплых стенах, в полутемной гостиной. И чувствовалось, что это ложно, увы, нет там, в небесах, покоя, где горит дрожащий Марс. Нужно ловить каждую эту минутку, что падает, как капля, в жарком доме, скатываясь с часов; а то кто поручится, что не разломятся небеса змеевидной шрапнельной ракетой, не заворчит опять даль.

– Оставьте руку, Шервинский, – вяло говорила Елена полупшепотом, – оставьте.

Но Шервинский не отставал, пальцы его играли на кисти, потом пробирались к локтю, к



плечу. Изредка он наклонялся к плечу, норовил гладкими бритыми губами поцеловать в плечо.

– Ах, наглец, наглец, – шепотом говорила Елена. Гитара... трэнь... трэнь... Неопределенно... глухо... потому что, видите ли, ничего еще не известно...

«Не было печали, – думал под зеленым абажуром Турбин, – от одной дряни избавились, и обязательно будет другая. Вот чертовы бабы... Никогда их к хорошему человеку не потянет. Он, правда, особенного ничего плохого не сделал, но ведь какой же он, к черту, муж? Врун, каких свет не производил, идейки никакой в голове. Только что голос. Но ведь голос можно и так слушать, не выходя замуж. Да... А, черт...»

Турбин вставал, ходил, курил, дергал ртом, и все прогулки по комнате неизменно заканчивались одним и тем же: Турбин доставал из ящика письменного стола кабинетный портрет, откидывал папиросную бумагу и вглядывался в лицо женщины с черными бровями и светлыми волосами. Вздыхал, рот кривил. Говорил – «не пойду...». Сжимал зубы и немедленно уезжал.

Глубокими вечерами сидел в пыльной, низкой, со старинным запахом комнате и бормотал, глядя то на эполеты сороковых годов, то в глаза Юлии Марковны:

– Скажи мне, кого ты любишь?

– Никого, – отвечала Юлия Марковна и глядела так, что сам черт не разобрал бы, правда ли это или нет.

– Выходи за меня... выходи, – говорил Турбин, сжимая руку.

Юлия Марковна отрицательно качала головой и улыбалась.

Турбин хватал ее за горло, душил, шипел:

– Скажи, чья это карточка стояла на столе, когда я раненый был у тебя?.. Черные баки...

Лицо Юлии Марковны наливалось кровью, она начинала хрипеть. Жалко – пальцы разжимаются.

– Это мой двою... троюродный брат.

– Где он?

– Уехал в Москву.

– Большевик?

– Нет, он инженер.

– Зачем в Москву поехал?

– Дело у него.

Кровь отливала, и глаза Юлии Марковны становились хрустальными. Интересно, что можно прочесть в хрустале? Ничего нельзя.

– Почему тебя муж оставил?

– Я его оставила.

– Почему?

– Он – дрянь.

– Ты дрянь и лгуныя. Я тебя люблю, гадину.

Юлия Марковна улыбалась.

Так вечера и так ночи. Турбин уходил около полуночи через многоярусный сад, с искусанными губами. Смотрел на дырявый застывший переплет деревьев, что-то шептал.

– Деньги нужны...

И однажды напоролся на Николку. Николка, блестя воротничком и пуговицами шинели, шел, заломив голову и изучая звезды. Так и столкнулись нос к носу в нижнем ярусе сада у начала кирпичной дорожки, ведущей к мшистой калитке. Произошла пауза.

– Ты, Никол? Ты где был? Гм...

– Я к Най-Турсам ходил, – сообщил Николка, убирая глаза куда-то в сторону, – расписание поездов носил.

– Разве они уезжают?

– Нет, они нет, – ответил неожиданно навравший про расписание Николка и сам же испугался. Как это так уезжают? Кто уезжает? Даже жутко. – Нет, это, видишь ли, Алеша, старушка-хозяйка.

– Ну, ладно. Не важно... Так они тут во флигеле?

– Ей-Богу, – сказал Николка.

– Ну, идем вместе.

Братья заскрипели по снегу. Захлопнули калитку.

– А ты, Алеша, здесь тоже был?  
– М-да, – слышалось в воротнике.  
– По делам или к больному?  
– К... угу, – ответил воротник.  
– Оригинальный сад, – начал занимать Николка брата разговором, – все ярусы, ярусы, флигеля.  
– Угу.

---

Турбин дал себе слово не читать газет, тем более украинских. Сидел дома, смутно слышал о том, что творится в Городе; за вечерним чаем, лишь только начинался разговор о Петлюре, начинал речь о том, что это, конечно, миф и что продолжаться это долго не может.

– А что же будет? – спросила Елена.  
– А будут, кажется, большевики, – ответил Турбин.  
– Господи, Боже мой, – сказала Елена.  
– Пожалуй, лучше будет, – неожиданно вставил Мышлаевский, – по крайней мере сразу поотвинчивают нам всем головы, и станет чисто и спокойно. Зато на русском языке. Заберут в эту, как их, че-ку, по матери обложат и выведут в расход.  
– Что ты гадости какие-то говоришь?  
– Извини, Леночка, но, кажется, что-то здорово с Москвы ветром потянуло.  
– Да, будьте любезны, – присоединился к разговору и Демон-Шервинский и выложил на стол газету – «Вести».

– Вот сволочь, – ответил Турбин, – как же она уцелела?

Действительно, эта бессмертная газета была единственной уцелевшей на русском языке. Полмесяца жила газета тем, что поносила покойного гетмана и говорила о том, что Петлюра имеет здоровые корни и что мобилизация идет у нас блестяще. Вторые полмесяца она печатала приказы таинственного Петлюры на двух языках – ломаном украинском и параллельном ломаном русском, а третьи – передовые о том, что большевики негодяи и покушаются на здоровую украинскую государственность, и еще какие-то таинственные и мутные сводки, из которых можно было при внимательном чтении узнать, что какая-то чепуха вновь закипает на Украине и где-то, оказывается, идет драка с поляками, где-то идет драка с большевиками, причем...

– Позвольте... позвольте...

Р-раз... и нарушил Турбин свое честное слово. Впился в газету...

*...врачам и фельдшерам явиться на регистрацию... под угрозой тягчайшей ответственности...*

– Начальник санитарного управления у этого босяка Петлюры доктор Курицкий...  
– Ты смотри, Алексей, лучше зарегистрируйся, – насторожился Мышлаевский, – а то влипнешь как пить дать. Ты на комиссию подай.  
– Покорнейше благодарю, – Турбин указал на плечо, – а они меня разденут и спросят, кто вам это украшение посадил? Дырki-то свежие. И влипнешь еще хуже. Вот что придется сделать. Ты, Никол, снеси за меня эту идиотскую анкету, сообщишь, что я немного нездоров. А там видно будет.  
– А они тебя катанут в полк, – сказал Мышлаевский, – раз ты здоровым себя покажешь.  
Турбин сложил кукиш и показал его туда, где можно было предполагать мифического и безликого Петлюру.  
– В ту же минуту на нелегальное положение, и буду сидеть, пока этого проходимца не вышибут из Города.  
– Уберут, – сказал уверенно Карась.  
– Кто?  
– Об этом товарищ Троцкий позаботится, можешь быть уверен, – пояснил мрачный Мышлаевский.

– Пожалуйста, – сказал Турбин<sup>8</sup>.

С кресла поднялся худенький и желтоватый молодой человек в сереньком френче. Глаза его были мутны и сосредоточенны. Турбин в белом халате посторонился и пропустил его в кабинет.

– Садитесь, пожалуйста. Чем могу служить?

– У меня сифилис, – хрипловатым голосом сказал посетитель и посмотрел на Турбина и прямо и мрачно.

– Лечились уже?

– Лечился, но плохо и неаккуратно. Лечение мало помогало.

– Кто направил вас ко мне?

– Настоятель церкви Николая Доброго отец Александр.

– Как?

– Отец Александр.

– Вы что же, знакомы с ним?

– Я у него исповедался, и беседа святого старика принесла мне душевное облегчение, – объяснил посетитель, глядя в небо. – Мне не следовало лечиться... Я так полагал. Нужно было бы терпеливо снести испытание, ниспосланное мне Богом за мой страшный грех, но настоятель внушил мне, что это я рассуждаю неправильно. И я подчинился ему.

Турбин внимательнейшим образом взгляделся в зрачки<sup>9</sup> пациенту и первым долгом стал исследовать рефлексy. Но зрачки у владельца козьего меха оказались обыкновенные, только полные одной печальной чернотой.

– Вот что, – сказал Турбин, отбрасывая молоток, – вы человек, по-видимому, религиозный?

– Да, я день и ночь думаю о Боге и молюсь Ему. Единственному прибежищу и утешителю.

– Это, конечно, очень хорошо, – отозвался Турбин<sup>10</sup>, не спуская глаз с его глаз, – и я отношусь к этому с уважением, но вот что я вам посоветую: на время лечения вы уж откажитесь от вашей упорной мысли о Боге. Дело в том, что она у вас начинает смахивать на идею фикс. А в вашем состоянии это вредно<sup>11</sup>. Вам нужен воздух, движение и сон.

– По ночам я молюсь.

– Нет, это придется изменить. Часы молитвы придется сократить. Они вас будут утомлять, а вам необходим покой.

Больной покорно опустил глаза.

Он стоял перед Турбиным обнаженным и подчинялся осмотру.

– Кокаин нюхали?

– В числе мерзостей и пороков, которым я предавался, был и этот. Теперь нет.

«Черт его знает... а вдруг жулик... притворяется; надо будет посмотреть, чтобы в передней шубы не пропали».

Турбин нарисовал ручкой молотка на груди у больного большой знак вопроса. Белый знак превратился в красный.

– Вы перестаньте увлекаться<sup>12</sup> религиозными вопросами. Вообще поменьше предавайтесь

<sup>8</sup> – *Пожалуйста*, – сказал Турбин. – Далее в гранках перед этим:

«Деньги. Черт возьми, практика лопнула. Позвольте. Звонок. Ну-ка, Никол. Открывай.

Первый пациент появился 30-го января вечером, часов около шести. Вежливо приподняв шапку Николке, он поднялся с ним вместе по лестнице, в передней снял пальто с козым мехом и попал в гостиную. Обитатели квартиры сошлись в столовой и повели тихую беседу, как всегда бывало, когда Алексей начинал принимать».

<sup>9</sup> ...взгляделся в зрачки... – В гранках: «...впился в зрачки...»

<sup>10</sup> ...отозвался Турбин... – В гранках: «...осторожно перебил Турбин...»

<sup>11</sup> А в вашем состоянии это вредно. – В гранках: «...это будет безусловно вредно».

<sup>12</sup> – Вы перестаньте увлекаться... – В гранках перед этим: «– Вот видите, дермографизм у вас есть».

всяким тягостным размышлениям. Одевайтесь. С завтрашнего дня начну вам впрыскивать ртуть, а через неделю первое вливание.

– Хорошо, доктор.

– Кокаин нельзя. Пить нельзя. Женщины тоже...

– Я удалился от женщин и ядов. Удалился и от злых людей, – говорил больной, застегивая рубашку, – злой гений моей жизни, предтеча антихриста, уехал в город дьявола.

– Батюшка, нельзя так, – застонал Турбин, – ведь вы же в психиатрическую лечебницу попадете. Про какого антихриста вы говорите?

– Я говорю про его предтечу Михаила Семеновича Шполянского, человека с глазами змеи и с черными баками<sup>13</sup>. Он уехал в царство антихриста, в Москву, чтобы подать сигнал и полчища аггелов вести на этот Город в наказание за грехи его обитателей. Как некогда Содом и Гоморра...

– Это вы большевиков аггелами? Согласен. Но все-таки так нельзя<sup>14</sup>... Вы бром будете пить. По столовой ложке три раза в день... Какой он из себя... этот ваш предтеча<sup>15</sup>?

– Он молод. Но мерзости в нем, как в тысячелетнем дьяволе. Жен он склоняет на разврат, юношей на порок, и трубят уже, трубят боевые трубы грешных полчищ, и виден над полями лик сатаны и идущего за ним<sup>16</sup>.

– Троцкого?!

– Да, это имя его, которое он принял. А настоящее его имя по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион, что значит губитель.

– Серьезно вам говорю<sup>17</sup>: если вы не прекратите это, вы смотрите... у вас мания развивается...

– Нет, доктор, я нормален. Сколько, доктор, вы берете<sup>18</sup> за ваш святой труд?

– Помилуйте, что у вас на каждом шагу слово «святой»? Ничего особенно святого я в своем труде не вижу. Беру я за курс, как все<sup>19</sup>. Если будете лечиться у меня, оставьте часть в задаток.

– Очень хорошо.

Френч расстегнулся.

– У вас, может быть, денег мало? – пробурчал Турбин, глядя на потертые колени. – «Нет, он не жулик... нет... но свихнется<sup>20</sup>».

– Нет, доктор, найдутся<sup>21</sup>. Вы облегчаете по-своему человечество.

– И иногда очень удачно. Пожалуйста, бром принимайте аккуратно.

---

<sup>13</sup>...с глазами змеи и с черными баками. – В гранках далее: «– Как вы говорите? С черными баками? А скажите, пожалуйста, где он живет?

– Он уехал в царство антихриста, чтобы подать сигнал...»

<sup>14</sup> Но все-таки так нельзя... – В гранках далее: «...Баки... Вот что...

*Ammon. bromat.*

*Kat. bromat.*

*Natr. bromat.*

<sup>15</sup>...Какой он из себя... этот ваш предтеча? – В корректуре далее:

«– Он черный...

– Молодой?

– Да, он молодой».

<sup>16</sup>...и виден над полями лик сатаны и идущего за ним. – В гранках отсутствует «...и идущего за ним».

<sup>17</sup> – Серьезно вам говорю... – В гранках перед этим: «– Ну, батюшка, серьезно...»

<sup>18</sup> Сколько, доктор, вы берете... – В гранках перед этим: «Вы не думайте. Сколько...»

<sup>19</sup> Беру я за курс, как все. – В корректуре: «Беру я 400 за первый курс, который продолжается около полутора месяцев. Если будете...»

<sup>20</sup> «Нет... но свихнется». – В гранках далее: «... – тогда можете меньше оставить».

<sup>21</sup> – Нет, доктор, найдутся. – В гранках: «– Нет, доктор, зачем же».

– Полное облегчение, уважаемый доктор, мы получим только там. – Больной вдохновенно указал в беленький потолок. – А сейчас ждут нас всех испытания, коих мы еще не видали... И наступят они очень скоро.

– Ну, покорнейше благодарю. Я уже испытал достаточно.

– Нельзя зарекаться, доктор, ох нельзя, – бормотал больной, напяливая козий мех в передней, – ибо сказано: третий ангел вылил чашу в источники вод, и сделалась кровь.

«Где-то я уже слышал это?.. Ах, ну, конечно, со священником всласть натолковался. Вот подошли друг к другу – прелесть».

– Убедительно советую, поменьше читайте Апокалипсис... Повторяю, вам вредно... Честь имею кланяться. Завтра в шесть часов, пожалуйста. Анюта, выпусти, пожалуйста<sup>22</sup>...

---

Открыв рты, Шервинского слушали<sup>23</sup> все, даже Анюта прислонилась к дверям.

– Какие такие звезды? – мрачнейшим образом расспрашивал Мышлаевский.

– Маленькие, как кокарды, пятиконечные. На всех папах. А в середине серп и молоточек. Прут, как саранча, из-за Днепра<sup>24</sup>.

– Да откуда это известно? – подозрительно спросил Мышлаевский.

– Очень хорошо известно, если уже есть раненые в госпиталях в Городе.

– Алеша, – вскричал Николка, – ты знаешь, красные идут! Сейчас, говорят, бои идут под Бобровицами.

Турбин первоначально перекошил злобно лицо и сказал с шипением:

– Так и надо. Так ему, сукину сыну, мрази, и надо. – Потом остановился и тоже рот открыл. – Позвольте... это еще, может быть, так, утки... небольшая банда...

– Утки? – радостно спросил Шервинский. Он развернул «Весть» и маникюрным ногтем отметил:

*«На Бобровицком направлении наши части доблестным ударом отбросили красных».*

– Ну, тогда действительно гроб... Раз такое сообщено, значит, красные Бобровицы взяли.

– Определенно, – подтвердил Мышлаевский.

---

Эполеты на черном полотне. Старая кушетка.

– Ну-с, Юленька, – молвил Турбин и вынул из заднего кармана револьвер Мышлаевского, взятый напрокат на один вечер, – скажи, будь добра, в каких ты отношениях с Михаил Семеновичем Шполянским?

Юлия попятилась, наткнулась на стол, абажур звякнул... дзинь... В первый раз лицо Юлии стало неподдельно бледным.

– Алексей... Алексей... что ты делаешь?

– Скажи, Юлия, в каких ты отношениях с Михаил Семеновичем? – повторил Турбин твердо, как человек, решившийся наконец вырвать измучивший его гнилой зуб.

– Что ты хочешь знать? – спросила Юлия, глаза ее шевелились, она руками закрывалась от

---

<sup>22</sup> Анюта, выпусти, пожалуйста... – В гранках: «...Никол, будь добр, выпусти».

<sup>23</sup> Открыв рты, Шервинского слушали... – В гранках перед этим:  
«Однажды вечером Шервинский вдохновенно поднял руку и молвил:  
– Ну-с? Здорово? И когда стали их поднимать, оказалось, что на папах у них красные звезды...»

<sup>24</sup> Прут, как саранча, из-за Днепра. – В гранках: «Прут, как саранча, так и лезут. Первую дивизию Петлюрину побили к чертям».

дула.

– Только одно: он твой любовник или нет?

Лицо Юлии Марковны ожило немного. Немного крови вернулось к голове. Глаза ее блеснули странно, как будто вопрос Турбина показался ей легким, совсем нетрудным вопросом, как будто она ждала худшего. Голос ее ожил.

– Ты не имеешь права мучить меня... ты, – заговорила она, – ну хорошо... в последний раз говорю тебе – он моим любовником не был. Не был. Не был.

– Поклянись.

– Клянусь.

Глаза у Юлии Марковны были насквозь светлы, как хрусталь.

Поздно ночью доктор Турбин стоял перед Юлией Марковной на коленях, уткнувшись головой в колени, и бормотал:

– Ты замучила меня. Замучила меня, и этот месяц, что я узнал тебя, я не живу. Я тебя люблю, люблю... – страстно, облизывая губы, он бормотал...

Юлия Марковна наклонялась к нему и гладила его волосы.

– Скажи мне, зачем ты мне отдалась? Ты меня любишь? Любишь? Или же нет?

– Люблю, – ответила Юлия Марковна и посмотрела на задний карман стоящего на коленях.

---

Когда в полночь Турбин возвращался домой, был хрустальный мороз. Небо висело твердое, громадное, и звезды на нем были натисканы красные, пятиконечные. Громадное всех и всех живее – Марс. Но доктор не смотрел на звезды.

Шел и бормотал:

– Не хочу испытаний. Довольно. Только эта комната. Эполеты. Шандал.

В три дня все повернулось наново, и испытание – последнее перед началом новой, неслыханной и невиданной жизни – упало сразу на всех. И вестником его был Лариосик. Это произошло ровно в четыре часа дня, когда в столовой собрались все к обеду. Был даже Карась. Лариосик появился в столовой в виде несколько более парадном, чем обычно (твердые манжеты торчали), и вежливо и глухо попросил:

– Не можете ли вы, Елена Васильевна, уделить мне две минуты времени?

– По секрету? – спросила удивленная Елена, шурша поднялась и ушла в спальню.

Лариосик припелся за ней.

– Придумал Ларион что-то интересненькое, – задумчиво сказал Николка.

Мышлаевский, с каждым днем мрачневший, мрачно оглянулся почему-то (он разбавлял на буфете спирт).

– Что такое? – спросила Елена.

Лариосик потянул носом воздух, прищурился на окно, поморгал и произнес такую речь:

– Я прошу у вас, Елена Васильевна, руки Анюты. Я люблю эту девушку. А так как она одинока, а вы ей вместо матери, я, как джентльмен, решил довести об этом до вашего сведения и просить вас ходатайствовать за меня.

Рыжая Елена, подняв брови до предела, села в кресло. Произошла большая пауза.

– Ларион, – наконец заговорила Елена, – решительно не знаю, что вам на это и сказать. Во-первых, простите, ведь так недавно еще пережили вашу драму... Вы сами говорили, что это неизгладимо...

Лариосик побагровел.

– Елена Васильевна, я вычеркнул ту дурную женщину из своего сердца. И даже карточку ее разорвал. Кончено. – Лариосик ладонью горизонтально отрезал кусок воздуха.

– Потом... Да вы серьезно говорите?

Лариосик обиделся.

– Елена Васильевна... Я...

– Ну простите, простите... Ну если серьезно, то вот что. Все-таки, Ларион Ларионыч, вы не забывайте, что вы по происхождению вовсе не пара Анюте...

– Елена Васильевна, от вас с вашим сердцем я никак не ожидал такого возражения.

Елена покраснела, запуталась.

– Я говорю это только вот к чему – возможен ли счастливый брак при таких условиях? Да и притом, может быть, она вас не любит?

– Это другое дело, – твердо вымолвил Лариосик, – тогда, конечно... Тогда... Во всяком случае, я вас прошу передать ей мое предложение...

– Почему вы ей сами не хотите сказать?

Лариосик потупился.

– Я смущаюсь... я застенчив.

– Хорошо, – сказала Елена, вставая, – но только хочу вас предупредить... мне кажется, что она любит кого-то другого...

Лариосик изменился в лице и затопал вслед за Еленой в столовую. На столе уже дымился суп.

– Начинайте без меня, господа, – сказала Елена, – я сейчас...

В комнате за кухней Анюта, сильно изменившаяся за последнее время, похудевшая и похошевшая какою-то наивной зрелой красотой, попятилась от Елены, взмахнула руками и сказала:

– Да что вы, Елена Васильевна. Да не хочу я его.

– Ну что же... – ответила Елена с облегченным сердцем, – ты не волнуйся, откажи и больше ничего. И живи спокойно. Успеешь еще.

В ответ на это Анюта взмахнула руками и, прислонившись к косяку, вдруг зарыдала.

– Что с тобой? – беспокойно спросила Елена. – Анюточка, что ты? Что ты? Из-за таких пустяков?

– Нет, – ответила, всхлипывая, Анюта, – нет, не пустяки. Я, Елена Васильевна, – она фартуком размазала по лицу слезы и в фартук сказала, – беременна.

– Что-о? Как? – спросила ошалевшая Елена таким тоном, словно Анюта сообщила ей совершенно невероятную вещь. – Как же ты это? Анюта?

---

В спальне под соколом поручик Мышлаевский впервые в жизни нарушил правило, преподавшее некогда знаменитым командиром тяжелого мортирного дивизиона, – артиллерийский офицер никогда не должен теряться. Если он теряется, он не годится в артиллерию.

Поручик Мышлаевский растерялся.

– Знаешь, Виктор, ты все-таки свинья, – сказала Елена, качая головой.

– Ну уж и свинья?.. – робко и тускло молвил Мышлаевский и поник головой.

---

В сумерки знаменитого этого дня 2 февраля 1919 года, когда обед, скомканный к черту, отошел в полном беспорядке, а Мышлаевский увез Анюту с таинственной запиской Турбина в лечебницу (записка была добыта после страшной ругани с Турбиным в белом кабинетике Елены), а Николка, сообразивший, в чем дело, утешал убитого Лариосика в спальне у себя, Елена в сумерках у притолоки сказала Шервинскому, который играл свою обычную гамму на кистях ее рук:

– Какие вы все прохвосты...

– Ничего подобного, – ответил шепотом Демон, нимало не смущаясь, и притянул Елену, предварительно воровски оглянувшись, поцеловал ее в губы (в первый раз в жизни, надо сказать правду).

– Больше не появляйтесь в доме, – неубедительно шепнула Елена.

– Я не могу без вас жить, – зашептал Демон, и неизвестно, что бы он еще нашептал, если бы не брызнул в передней звонок.

Двое вооруженных в сером толклись в передней, не спуская глаз с доктора Турбина. Николка в крайней степени расстройства метался возле него и все-таки успел не только нашептать ему: «При первой возможности беги, Алеша... у них уже эвакуация...» – но и всунуть ему в карман револьвер Мышлаевского. Турбин, щурясь и стараясь не волноваться в присутствии хлопцев, глядел в бумагу. В ней по-украински было написано:

*«С одержанием съего препонується вам негойно...»*

Одним словом: явиться в 1-й полк синей дивизии в распоряжение командира полка для назначения на должность врача. А за неявку на мобилизацию, согласно объявлению третьего дня, подлежите военному суду.

– Плевать, – совершенно беззвучно шептал Николка, отдавливая Турбина к двери в столовую, – в первый момент беги. Беги сейчас? А?

– Нельзя. Елену возьмут, – одними губами, – лучше с дороги...

– Так я сам приеду, – мрачно говорил Турбин.

– Ни, – хлопцы качали головами, – приказано вас узять под конвой.

– Где же этот полк?

– Сейчас из Города выступает в Слободку, – пояснил один из хлопцев.

– Кто командует?

– Полковник Мащенко.

Турбин еще раз перечел подпись – «Начальник Санитарного Управления лекарь Курицкий».

– Вот тебе и кит и кот, – возмущенно и вслух сказал Николка.

.....

.....

## [21]

Пан куренный в ослепительном свете фонаря<sup>25</sup> блеснул инеем, как елочный дед, и завопил на диковинном языке, состоящем из смеси русских, украинских и слов, сочиненных им самим – паном куренным:

– В бога и мать!!! Скидай сапоги, кажу тебе! Скидай, сволочь. И если ты не поморозив, так я тебя расстреляю, бога, душу, твою мать!!

Пан куренный взмахнул маузером, навел его на звезду Венеру, нависшую над Слободкой, и дакнул гашетку. Косая молния резнула пять раз, пять раз оглушительно-весело ударил грохот из руки пана куренного, и пять же раз, весело кувыркнувшись – трах-тах-ах-тах-дах, – взмыло в обледеневших пролетах игривое эхо.

Затем будущего приват-доцента и квалифицированного специалиста доктора Турбина сбросили с моста. Сечевики шарахнулись, как обезумевшее стадо, больничные халаты насели на них черной стеной, гнилой парапет крикнул, лопнул, и доктор Турбин, вскрикнув жалобно, упал, как куль с овсом.

Так – снег холодный. Но если с высоты трех саженей с моста в бездонный сугроб – он горячий как кипяток.

Доктор Турбин вонзился как перочинный ножик, пробил тонкий наст и, подняв на сажень обжигающую белую тучу, по горло исчез. Задохнувшись, рухнул на бок, еще глубже, нечеловеческим усилием взметнул вторую тучу, ощутил кипяток на руках и за воротником и каким-то чудом вылез. Сначала по грудь, потом по колена, по щиколотки (кипяток в кальсонах) – и, наконец, твердая обледеневшая покатость. На ней доктор сделал, против всякого своего желания, ги-

<sup>25</sup> Пан куренный в ослепительном свете фонаря... – Ср. с рассказом «В ночь на 3-е число» (Из романа «Алый мах»).



гантский пируэт, ободрал о колючую проволоку левую руку в кровь и сел прямо на лед.

С моста два раза стукнул маузер, забушевал гул и топот. А выше этажом – безукоризненная темно-синяя ночь, густо усыпанная звездами.

К дрожащим звездам Турбин обратил свое лицо с белоснежными мохнатыми ресницами и звездам же начал свою речь, выплевывая снег изо рта:

– Я – дурак!

Слезы выступили на глазах у доктора, и он продолжал звездам и желтым мигающим огням Слободки:

– Дураков надо учить. Так мне и надо. За то, что не удрал...

Закоченевшей рукой он вытащил кой-как из кармана брюк платок и обмотал кисть. На платке сейчас же выступила черная полоса. Доктор продолжал, уставившись в волшебное небо:

– Господи, если Ты существуешь, сделай так, чтобы большевики сию минуту появились в Слободке. Сию минуту. Я монархист по своим убеждениям. Но в данный момент тут требуются большевики. Черт. Течет... здорово ободрал. Ах, мерзавцы. Ну и мерзавцы. Господи, дай так, чтобы большевики сейчас же вон оттуда, из черной тьмы за Слободкой, обрушились на мост.

Турбин сладострастно зашипел, представив себе матросов в черных бушлатах. Они влетают, как ураган, и больничные халаты бегут врассыпную. Остается пан куренный и эта гнусная обезьяна в алой шапке – полковник Машенко. Оба они, конечно, падают на колени.

– Змилуйтесь, добродию, – вопят они.

Но тут доктор Турбин выступает вперед и говорит:

– Нет, товарищи, нет. Я – монар...

Нет, это лишнее... А так: я против смертной казни. Да, против. Карла Маркса я, признаться, не читал и даже не совсем понимаю, при чем он здесь, в этой кутерьме, но этих двух нужно убить как бешеных собак. Это – негодяи. Гнусные погромщики и грабители.

– А-а... так... – зловеще отвечают матросы.

– Д-да, т-товарищи. Я сам застрелю их.

В руках у доктора матросский револьвер. Он целится. В голову. Одному. В голову. Другому.

Тут снег за шиворотом растаял, озноб прошел по спине, и доктор Турбин опомнился. Весь в снеговой пудре, искрясь и сверкая, полез он по откосу обратно на мост. Руку нестерпимо дергало, и в голове звонили колокола.

Черные халаты стали полукругом. Серые толпы бежали перед ними и сгинули в загадочной Слободке. Шагах в двух от пулемета на истоптанном снегу сидел сечевик без шапки и, тупо глядя в землю, разувался. Пан куренный, левой рукой упершись в бок, правой помахивал в такт своим словам маузером.

– Скидай, скидай, зануда, – говорил он. На его круглом прыщеватом лице была холодная решимость. Хлопцы в тазах на головах, раскрыв рты, смотрели на сечевика. Жгучее любопытство светилось в щелочках глаз. Сечевик возился долго. Сапог с дырой наконец слез. Под сапогом была сизая, пятнистая заскорузлая портянка. Свинцовых года полтора пронеслось над доктором, пока сечевик разматал мерзкую тряпку.

«Убьет... убьет... – гудело в голове, – ведь целы ноги у этого идиота. Господи, чего же он молчит. Вмешаться? Не поможет, самого, чего доброго... Ах, я сволочь».

Не то вздох, не то гул вырвался у хлопцев.

Сечевик сбросил наконец омерзительную ветошку, медленно обеими руками поднес ногу к самому носу пана куренного. Торчала совершенно замороженная, белая корявая ступня.

Мутное облако растерянности смыло решимость с круглого лица пана куренного.

– До лазарету. Пропустить його.

Больничные халаты расступились, и сечевик, ковыляя, пошел на мост. Турбин глядел, как человек с босой ногой нес в руках сапог и ворох тряпья, и жгучая зависть терзала его сердце. Вот бы за ним. Тут. Вот он – Город – тут. Горит на горах за рекой Владимирский крест, и в небе лежит фосфорически бледный отсвет фонарей. Дома. Дома. Боже мой. О мир. О благодный покой...

Звериный визг внезапно вырвался из белого здания. Визг. Потом уханье. Визг.

– Жида порют, – негромко и сочно звякнул голос.

Турбин застыл в морозной пудре, и колыхались перед глазами то белая стена и черные

глазницы с выбитыми стеклами, то широкоскулое нечто, случайно напоминающее человеческое лицо, прикрытое серым германским тазом. Словно ковер выколачивали в здании. И визг ширился, рос до того, что казалось, будто вся Слободка полна воем тысячи человек.

– Что это такое? – звонко и резко выкрикнул чей-то голос. Только когда широкоскулое подобие оказалось у самых глаз Турбина, он понял, что голос был его собственный, а также ясно понял, что еще минута человеческого воя, и он с легким и радостным сердцем впустит ногти в рот широкого нечто и раздерет его в кровь. Нечто же, расширив глаза до предела, пятилось в тумане, пораженное выходкой врага.

– За что же вы его бьете?!

Не произошло непоправимой беды для будущего приват-доцента только потому, что грохот с моста утопил в себе и визг и удары, а водоворот закрутил и рожу в шлеме, и самого Турбина. Новая толпа дезертиров-сечевиков и гайдамаков посыпалась из пасти Слободки к мосту. Пан куренный, пятясь, поверх голов послал в черное устье четыре пули.

– Сыняя дывызия! Покажи себе, – как колотушка, стукнул голос полковника Мащенко. Шапка с алым верхом взметнулась, жеребец, сдавленный черными халатами, хрипя от налезающей щетины штыков, встал на дыбы.

– Кроко... руш!!

Черный батальон синей дивизии грянул хрустом сотен ног и, вынося в клещах конных старшин, выдавив последние остатки временного деревянного парапета, ввалился в черное устье и погнал перед собой ошалевших сечевиков. В грохоте смутно послышался голос:

– Хай живе батько Петлюра!!

---

*О звездные родные украинские ночи.  
И мир, и благодатный покой.*

---

В десять часов вечера, когда черный строй смел перед собой и уважаемого доктора, и вообще все к черту, там – в Городе за рекой, в чудной квартире был обычный мир в вещах и смятение в душах. Елена ходила от одного черного окна к другому и всматривалась в них, как будто хотела разглядеть в темной гуще с огоньками Слободку и брата. Николка и Леонид Юрьевич ходили за ней по пятам.

– Да брось, Леля! Ну чего ты беспокоишься? Ничего с ним не случится. Ведь догадается же он удрать!

– Ей-Богу, ничего не случится, – утверждал и Леонид Юрьевич, и намащенные перья стояли у него дыбом на голове.

– Ах, ну к чему эти утешения. Поймите, они его в Галицию утащат.

– Ну, что ты, в самом деле! Придет он...

– Елена Васильевна.

– Хорошо, я проаккомпанирую... Позвольте. – Елена взяла Леонида Юрьевича за плечи и повернула к свету. – Боже мой! Что это за гадость? Что за перья? Да вы с ума сошли. Где пробор?

– Хи-хи. Это он сделал прическу а-ля большевик.

– Ничего подобного, – залившись густой краской, солгал Леонид Юрьевич.

Это, однако, была сушая правда. Под вечер, выходя от парикмахера Жана, который два месяца при Петлюре работал под загадочной полотняной вывеской «Голярня», Леонид Юрьевич зазевался, глядя, как петлюровские штабные с красными хвостами драли в автомобилях на вокзал, и вплотную столкнулся с каким-то черным блузником. Леонид Юрьевич вправо, и тот вправо, влево и влево... Наконец разминулись.

– Подумаешь – украинский барин. Полпанели занимает. Палки-то с золотыми шарами отберут в общую кассу...

Вдумчивый и внимательный Леонид Юрьевич обернулся, смерил черную замасленную спину, улыбнулся так, словно прочел на ней какие-то письма, и пробормотал:

– Не стоит связываться. Поздравляю. Большевики ночью будут в Городе.

Махнув знаменитой палкой, он вдруг изменил маршрут. На трамвае вернулся на Львовскую, а оттуда к себе в Дикий переулок. Приехав домой, он решил изменить облик и изменил его на удивление. Вместо вполне приличного пиджака оказался свитер с дырой на животе; палка была сдана на хранение матери. Ушастая дрянь заменила бобровую шапку. А под дрянью на голове было черт знает что. Леонид Юрьевич размочил сооружение Жана из голярни и волосы зачесал назад. Получилось будто бы ничего. Так, идейный молодой человек с бегающими глазами. Ничего офицерского.

– Уезжаю к Турбиным, у них и ночевать буду, – крикнул Леонид Юрьевич, возясь в передней и примеряя еще какую-то мерзость.

И вот, теперь, когда волосы высохли и поднялись... Господи, Боже мой.

– Уберите это. Я не буду сопровождать. Черт знает... папуас.

– Чистой воды команч. Вождь Соколиный Глаз.

Затравленный Леонид Юрьевич низко опустил голову.

– Ну, хорошо, я перечешусь.

– Я думаю, перечешитесь. Николка, отведи его в свою комнату.

Николка распахнул дверь и заиграл марш на пианино. Шервинский прошел мимо багровый, с шепотом:

– Мерзавец ты...

Когда вернулись, Леонид Юрьевич был по-прежнему не команч, а гладенько причесанный гвардейский офицер.

*То-род пре-крас-ный.*

*То-о-род счастли-и-вый.*

Лава, как штука аметистового бархата, без всякого напряжения потекла и смягчила сердца, полные тревоги.

*О, го-о-о-о-о-ород...*

Шервинский не удержался и выпустил, постепенно открывая, свое знаменитое *mi*. Аметист мгновенно превратился в серебряный сверлящий поток. Гостиная загремела, как деревянная коробка, бесчисленными отражениями от стен и стекол. Николка съехал в кресле и от ужаса и наслаждения втянул голову в плечи.

– Эт-то голосок, – не удержался он, чтобы не шепнуть.

И только когда приглаженный команч, притушив звук и властвуя над покоренным аккомпанементом, вывел мец-цо-воче:

*Месяц сия-а-ает... –*

и Николка и Елена расслышали дьявольски грозный звук тазов. Аккорд оборвался, но под педалью еще гудело «до» оборвался и голос. Николка вскочил.

– Голову даю на отрез, что это Василиса! Он, он проклятый.

– Боже мой...

– Спокойно, спокойно, Елена Васильевна...

– Голову даю. И как такого труса земля терпит.

За окнами плыл, глухо раскатываясь, шабаш. Николка заметался, втискивая в карман парабеллум Мышлаевского.

– Николенька, брось револьвер. Никол, прошу тебя.

Стукнула дверь в столовой, затем на веранде, выходящей во двор. Шабаш на секунду ворвался в комнаты. Во дворе, рядом во дворе и дальше по всей улице звонили тазы для варенья. Разливался, потрясая морозный воздух, качающийся тревожный грохот.

– Никол, не ходи со двора. Леонид, не пускайте его...

Николка угадал. Именно Василиса и была причиной тревоги. Николка, ведавший в качестве секретаря домового комитета списками домовой охраны, не мог отказать себе в удовольствии в смутную ночь на 3-е число поставить на дежурство именно Василису в паре с рыхлой и сдобной женщиной Авдотьей Семеновной – женой сапожника. Поэтому в графе:

## 2-е число От 8 до 10 час. вечера АВДОТЯ И ВАСИЛИСА

Вообще удовольствия было много. Целый вечер Николка учил Василису обращению с австрийским карабином. Василиса сидел на скамеечке под стеной, обмякший и с помутневшими глазами, а Николка с сухим стуком выбрасывал экстрактором патроны, стараясь попасть ими в Василису. Наконец, наладившись вдоволь, собственноручно прикрепил к ветке акации таз для варенья (бить тревогу) и ушел, оставив на скамейке смущенно неподвижного Василису рядом с хмурой Авдотьей.

– Вы поглядывайте, Васл...ис... Иванович, – уныло, озабоченно бросил Николка. – В случае чего... того... на мушку. – И он зловеще подмигнул на карабин.

Авдотья плюнула.

– Чтоб он издох этот Петлюра, сколько беспокойства людям...

Василиса пошевелился единственный раз после ухода Николки. Он осторожно приподнял карабин руками за дуло и за ложе, положил его под скамейку дулом в сторону и замер. Отчаяние овладело Василисой при самом окончании его срока. В 10 часов, когда в Городе начали замирать звуки жизни и Авдотья категорически заявила, что ей необходимо отлучиться на пять минут. И она отлучилась. Песнь Веденецкого гостя, глухо разлившаяся за кремовыми шторами, немного облегчила сердце несчастного Василисы. Но только на минуту. Как раз в это время на пригорке над крышей сарая, к которому уступами сбегал запущенный снегом сад, явственно мелькнула тень и с шелестом обвалился пласт снега. Василиса закрыл глаза и в течение мгновения увидел целый ряд картин: вот ворвались бандиты, вот перерезали Василисе горло, и вот он – Василиса – лежит в гробу мертвый. И Василиса, слабо охнув, ударил палкой в таз. Тотчас же грохнули в соседнем дворе, затем через двор, а через минуту весь Алексеевский спуск завывал медными угрожающими голосами, а в № 17-м немедленно начали стрелять. Василиса, растопырив ноги, закончил с палкой в руках.

*Месяц сия-а-о...*

Загремела дверь, и выскочил, натаскивая пальто в рукава, Николка, за ним Шервинский.

– Что случилось?

Василиса вместо ответа ткнул пальцем, указывая на сарай. Николка и Шервинский осторожно обошли его, поднялись по лесенке и заглянули в калитку черного сада. Предохранитель тихонько щелкнул в руке Николки. Но пусто и молчаливо было в саду, и Авдотья блудливый кот давно удрал, ошалев от дьявольского грохота.

– Вы первый ударили? (*Строго.*)

Василиса судорожно вздохнул, лизнул губы и ответил:

– Нет, кажется, не я...

Николка закрыл предохранитель, возвел глаза к небу и произнес в сторону:

– О, что это за человек?

Затем он, несмотря на запрещение Елены, выбежал в калитку и пропадал минут десять. Сперва перестали греметь рядом, затем в номере 17-м, в 19-м, и только долго-долго какой-то неугомонный гражданин стрелял в конце улицы, но перестал в конце концов и он. И опять наступило тревожное безмолвие.

Николка, вернувшись, прекратил пытку Василисы, властной рукой секретаря домкома вызвал Щеглова с женой (10–12 часов) и юркнул обратно в дом. Вбежав на цыпочках в гостиную, он не дал Елене обрушиться на него с укорами, выкатил глаза и крикнул суфлерским шепотом:

– Ур-ра. Радуйся, Елена! Ура! Гонят Петлюру. Красноиндейцы идут по пятам.

– Да что ты?

– Слушайте... Я сейчас выбежал за ворота и слышал скрип. Обозы идут, батюшки, обозы! Хвосты уходят! Петлюре каюк!!

– Ты не врешь?

– Чудачка, какая же мне корысть?

Елена встала с кресла.

Неужели Алексей вырвется?

– Да конечно же. Не идиот же он. Ты слушай: я уверен, что их выдавили уже из Слободки... Хорошо-с. Как только их погонят, куда они пойдут? Ясно, на Город, обратно через мост. Когда они будут проходить Город, тут Алексей и даст ходу.

– А если они не пустят?

– Ну-у... не пустят. Дураком не надо быть. Пусть бежит.

– Ясно. Другого пути нет, – подтвердил Шервинский и тихонько, с лицом, изображающим в комическом виде священный ужас перед грядущим, пошел к пианино.

– Поздравляю вас, товарищи, – мгновенно изобразил Николка оратора на митинге, – таперича наши идут. Троцкий, Луначарский и прочие<sup>26</sup>. – Он заложил руку за борт блузы и оттопырил левую ногу. – Прр-авильно, – ответил он сам себе от имени невидимой толпы, а затем зажал рот руками и изобразил, как солдаты на площади кричат «ура».

– У-а-а-а-а!!

Шервинский ткнул пальцами в клавиши.

*Соль.....до.*

*Проклятьем заклейменный.*

В ответ оратору заиграл духовой оркестр. Иллюзия получилась настолько полная, что Елена вначале подавилась смехом, а потом пришла в ужас.

– Вы с ума сошли оба. Петлюровцы на улице!

– У-а-а-а! Долой Петлю!.. ап!

Елена бросилась к Николке и зажала ему рот.

---

Первое убийство в своей жизни доктор Турбин увидел секунда в секунду на переломе ночи со 2-го на 3-е число. В полночь у входа на проклятый мост. Человека в разорванном черном пальто, с лицом синим и черным в потеках крови, волокли по снегу два хлопца, а пан куренный бежал рядом и бил его шомполом по спине. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не вскрикивал, а только ухал. Тяжко и хлестко впивался шомпол в разодранное в клочья пальто, и каждому удару отвечало сиплое:

---

<sup>26</sup>...таперича наши идут. Троцкий, Луначарский и прочие... – Этот фрагмент текста, разумеется, при подготовке к публикации рассказа «В ночь на 3-е число» был исключен.

– Ух... а.

Ноги Турбина стали ватными, подогнулись, и качнулась заснеженная Слободка.

– А-а, жидовская морда! – иступленно кричал пан куренный. – К штабелю его на расстрел! Я тебе покажу, як по темным углам ховаться! Я т-тебе покажу! Що ты робив за штабелем? Що?..

Но окровавленный не отвечал. Тогда пан куренный забежал спереди, и хлопцы отскочили, чтобы самим увернуться от взлетевшей блестящей трости. Пан куренный не рассчитал удара и молниеносно опустил шомпол на голову. Что-то кракнуло, черный окровавленный не ответил уже... «ух»... Как-то странно подвернув руку и мотнув головой, с колен рухнул на бок и, широко отмахнув другой рукой, откинул ее, словно хотел побольше захватить для себя истоптанной, унавоженной белой земли.

Еще отчетливо Турбин видел, как крючковато согнулись пальцы и загребли снег. Потом в темной луже несколько раз дернул нижней челюстью лежащий, как будто давился, и разом стих.

Странно, словно каркнув, Турбин всхлипнул, пошел, пьяно шатаясь, вперед и в сторону от моста к белому зданию. Подняв голову к небу, увидел шипящий белый фонарь, а выше светило опять черное небо, опоясанное бледной перевязью Млечного Пути, и играющие звезды. И в ту же минуту, когда черный лежащий испустил дух, увидел доктор в небе чудо. Звезда Венера над Слободкой вдруг разорвалась в застывшей выси огненной змеей, брызнула огнем и оглушительно ударила. Черная даль, долго терпевшая злодейство, пришла наконец в помощь обессилевшему и жалкому в бессилье человеку. Вслед за звездой даль подала страшный звук, ударила громом тяжело и длинно. И тотчас хлопнула вторая звезда, но ниже, над самыми крышами, погребенными под снегом.

---

...Бежали серым стадом сечевики. И некому их было удерживать. Бежала и синяя дивизия нестройными толпами, и хвостатые шапки гайдамаков плясали над черной лентой. Исчез пан куренный, исчез полковник Мащенко. Осталась позади навеки Слободка с желтыми огнями и ослепительной цепью белых огней освещенный мост. И Город прекрасный, Город счастливый выплывал навстречу на горах.

---

У белой церкви с колоннами доктор Турбин вдруг отделился от черной ленты и, не чувствуя сердца, на странных негнущихся ногах пошел в сторону прямо на церковь. Ближе колонны. Еще ближе... Спину начали жечь как будто тысячи взглядов. Боже, все заколочено. Нет ни души. Куда бежать? Куда? Вот оно сзади наконец, знакомое страшное:

– Стый!

Ближе колонны. Сердца нет.

– Стый! Сты-ый!

Тут доктор Турбин сорвался и кинулся бежать так, что засвистело в лицо.

– Тримай! Тримай його!!

Раз. Грохнуло. Раз. Грохнуло. Удар. Удар. Удар. Третья колонна. Миг. Четвертая колонна. Пятая. Тут доктор случайно выиграл жизнь, кинулся в переулок. Иначе бы в момент догнали конные гайдамаки на освещенной прямой, заколоченной Александровской улице. Но дальше – сеть переулков, кривых и черных. Прощайте навсегда! Прощай Петурра!! Петурра!!.....

---

В пролом стены вдавился доктор Турбин. С минуту ждал смерти от разрыва сердца и глотал раскаленный воздух. Развевал по ветру удостоверение, что он мобилизован в качестве врача «першего полку сыней дывызии». На случай, если в пустом Городе встретится красный первый

патруль. Кто знает?..

---

Около 3 ночи в квартире залился оглушительный звонок

– Ну, я ж говорил! – заорал Николка. – Перестань реветь, перестань.

– Елена Васильевна, это он. Полноте.

Николка сорвался и полетел открывать.

– Боже ты мой!

Лена рыжая кинулась к Турбину и отшатнулась.

– Да ты... да ты седой.

Турбин тупо посмотрел в зеркало и улыбнулся криво дернув щекой. Затем, поморщившись, с помощью Николки стащил пальто и, ни слова не говоря, прошел в столовую, опустился на стул и весь обвис как мешок. Елена глянула на него, и слезы снова закапали у нее из глаз. Леонид Юрьевич и Николка, открыв рты, глядели в затылок на белый вихор.

Турбин обвел глазами тихую столовую, остановил мутный взгляд на самоваре, несколько минут вглядывался в свое изображение в блестящей грани.

– Да, – наконец выдал он из себя бессмысленно.

Николка, услышав это первое слово, решился спросить...

– Слушай, ты... Бежал, конечно? Да ты скажи, что ты у них делал?

– Вы знаете, – медленно ответил Турбин, – они, представьте, в больничных халатах, эти самые синие-то петлюровцы. В черных...

Еще что-то хотел сказать Турбин, но вместо речи получилось неожиданное. Он всхлипнул звонко, всхлипнул еще раз и разрыдался, как женщина, уткнув голову с седым вихром в руки. Елена, не зная еще, в чем дело, заплакала в ту же секунду. Леонид Юрьевич и Николка растерялись до того, что даже побледнели. Николка опомнился первый и полетел в кабинет за валерианкой, а Леонид Юрьевич сказал, прочистив горло, неизвестно к чему:

– Да, каналья этот Петлюра.

Турбин же поднял искаженное плачем лицо и, всхлипывая, вскрикнул:

– Бандиты!! Но я... я... интеллигентская мразь, – и тоже неизвестно к чему...

И распространился запах эфира. Николка дрожащими руками начал отсчитывать капли в рюмку.

---

В половине четвертого жизнь семьи кольцом свилась опять у той же жаркой площади Саардамского Плотника. Натопили с вечера, но и до сих пор печь все еще держала тепло. Полустиертые обреченные надписи по-хрежнему глядели с блестящей поверхности, и кремовые горы были задернуты. Часы шли, как тридцать лет тому назад – тонк-танк, и в их бое в эту ночь была какая-то важность и значительность.

Зеленый ломберный стол поставили углом к печке – иначе он не влезал, и рыжую важную Лену, пережившую все испытания, какие может пережить женщина за полтора лихих и страшных месяцев, поместили в кресло у печки с тем, чтобы ее не беспокоить и не пересаживать, как бы ни сложились карты в конце роббера. Пуховый платок обнимал Елену, и белые ее руки лежали на зеленой равнине стола, и Шервинский, не отрываясь, глядел на них. В длинных пальцах была женская мощь и какая-то уверенность, примирение и спокойствие.

И Лариосик, напившись чаю с бутербродами, пригнулся у левой руки Елены рыжей, стал забывать про Анюту и новый удар и все свое внимание сосредоточил на атласном синем крое любимой турбинской колоды.

Николка играл сосредоточенно и напористо – у него была такая мыслишка – выиграть карбованов тридцать у Шервинского... у него денег – о-го-го! Всегда есть. Несмотря на эти соображения, уши Николка наострил и слушал внимательно – не раздастся ли стук в ворота, не отзовутся ли громом цепи? Все Николкой было налажено как следует, как все, что его приучили

делать в инженерном высшем училище. Ну, конечно, иногда не выходит... ну, что же сделаешь — не везет иногда.

Во всяком случае, все сделано честь честью. Ход из кухни заперт только на один легкий крючок. А ключ от калитки на улицу самолично Николкой прикарманен. Если кинутся искать доктора, бежавшего из полка, а прибегут по его адресу, тотчас Алексея поднимают и через черный ход во двор, а там узкой щелью между двумя сараями, где Николкой расшиты доски, под гору и среди снежных канав Алексей проникнет в соседний 15-й номер и там в темной, лепящейся под горой усадевке переждет, пока уйдут.

Что они сделают?

Ни черта они сделать не могут.

«Где доктор? Доктор мобилизован и ушел с полком. Его в полку нет. Ну, это уж не наше дело. Мы сами волнуемся, мы сами встревожены».

---

Но никто не придет, никто. Это чувствуется по всему, даже по руках Елены, теплым, белым, чувствуется и часами... Тонк-томк. Чувствуется и Лариосиком, погруженным в божественную игру винт. Чувствуется и при взгляде на печку. Лоснится, пылает белый изразец — таинственная, мудрая скала — благодатная, жаркая...

Времечко-то, времечко... Эх, эх... Ну ничего... ничего... пережили и еще переживем... И Николка сквозь зубы напевает:

*Бескозырčki тонные,  
Сапоги фасонные...*

Но гитара уже не идет маршем, не сыплет со струн инженерная рота. Нет больше этого ничего... Надвигается новое, совершенно неизведанное. Страшное. Тихонько, господа, тихонечко... Эх... Эх<sup>27</sup>...

*Съемки примерные,  
Съемки глазомерные...*

---

Никто не придет. Никто. И напрасно Алексей мучится там тревожным сном. Ныне отпускаеши раба Твоего с миром... Кончено... Что будет дальше, неизвестно... А сейчас с миром... И напрасно, напрасно мучится человек... Просто даже если в окна посмотреть, сразу чувствуется, что ничего уже не будет... Петурра!.. Петурра!.. Петурра... Петурра... храпит Алексей... Но Петурры уже не будет... Не будет, кончено. Вероятно, где-то в небе петухи уже поют, предутренние, а значит, вся нечистая сила растаяла, унеслась, свилась в клубок в даях за Лысой Горой и более не вернется. Кончено. Во всяком случае, посидим, покараулим, покараулим... пусть спит Алексей, пусть, а на рассвете ляжем и мы и крепко заснем...

---

<sup>27</sup> *Надвигается новое, совершенно неизведанное. Страшное. Тихонько, господа, тихонечко... Эх... Эх...* — Убедившись в полной невозможности создания второй части романа, рассказывающей о жизни Турбиных в период господства большевиков в Киеве с февраля 1919 г., Булгаков лишь намеками обозначает этот тяжелый период.



Руки Шервинского вдруг наполнились красными картами. Дрогнув, он хищно скосил глаз на прикуп и сказал:

– Две в червях.

– Везет им, черт возьми, – скрипнул Николка, полный мелких пик и любящая на трефовую даму, похожую на Ирину Най, и, чтобы перебить, он крикнул: – Четыре черви!

– Пять бубен, – сказала Елена.

– Пять червей, – рискнул Лариосик и так выкатил глаза, что Николка перекрестился демонстративно.

– Не дадим играть, – рявкнул Николка и заявил, выкатывая глаза: – Малый в пиках!

– В червях, – купила Елена.

– Э-эх... – вздохнул Николка, – бери, бери.

Зашуршали карты. Шервинский дрогнул, получив от Елены четыре червы. Он разнес три трефки. Подумал: «Черт, не напороться б на ренонс», и торжественно бухнул в колокол:

– Большой шлем в червях.

Лариосик подумал, подумал и хлестко выложил туза пик. Была слабая надежда, что Николка убьет, но, увы, Николка был полон пик. И Шервинский червонной тройкой убил туза. Затем он, торжествуя, веером развернул двенадцать карт. Они были сплошь красные. Червонные сердца загорелись на зеленом лугу над белыми знаками цифр. Одиннадцать червонных карт светились на столе, и лишь двенадцатая была бубновый туз.

– Видали? – победоносно спросил Шервинский.

Партнеры были убиты.

Далеко за окнами медленно и важно ударил пушечный выстрел. Расширились глаза у четырех игроков. За первым ударом пришел второй, третий.

– Бой?

– Бой.

Но удары шли через правильные интервалы, изредка тихо-тихо вздрагивала застекленная веранда. Стреляли недалеко, где-то у Днепра на Подоле. Возможно, на самом берегу, Шервинский стоял и, тихо шевеля губами, считал: – 29... 30... 31...

И удары смолкли. Все недоуменно переглянулись. Глаза Шервинского торжественно заблистали.

– Вы знаете, что это такое? – спросил он победоносно и ответил сам себе: – Это салют. Тридцать один выстрел. – Он торжественно встал и, выгнув грудь колесом, сказал:

– Поздравляю вас, господа. Большевики заняли Город. Это их батарея стреляет где-то на Днепре.

Черные часы шли и шли. Показывали они начало четвертого часа 3 февраля 1919 года.

А в четыре маленький двухэтажный дом на Алексеевском спуске спал после треволнений глубоким сном. Ночь теплая, семейная в еще не разрушенном очаге Анны Владимировны. Сонная дрема ходила в черной гостиной, колыхалась в слоистых тенях. Печи еще отдавали тепло, грели старые комнаты. А за окнами расцветала все победоноснее и победоноснее студеной ночь и беззвучно шла над землей. Путь серебряный, млечный, как перевязь сиял, на небе играли звезды, сжималась и расширялась звезда Венера.

В теплых комнатах поселились сны. В своей комнате спал старший Турбин. Неизменная лампочка маленькая, малюсенькая, – верный друг ночей (Турбин не мог спать в темноте) горела у кровати на стуле. Тикали карманные часы. Сон развернулся вовсю. Видел Турбин тяжкий, больной, ревнивый сон. Был он в своей страшной ясности – сон вещий. Ах! Замучила Юлия Алексея Васильевича Турбина. Любит Алексеем Васильевичем Юлию таинственную.

Была какая-то скверная ночь. Понимаете, ночь, а видно, как днем. И в то же время темно. И вот крадется, крадется Алексей по ступеням этого лучшего в мире садика к флигельку, к этому флигельку. Крадется за неизвестным человеком; у человека прекрасный соболий воротник, дорожное пальто, ноги в гетрах. И мелькнет странно временами бок лица. Будто на нем черные баки. Черные баки у ненавистного Онегина. Крадется Турбин, полный злобы, подозрения и отваги, и верный браунинг у него в кармане... Ах, если бы разглядеть лицо этого проклятого человека! Но лицо не дается. Не дается. Нет у человека лица. О, сны вещие! Ой, слушайте снов. Если кто скажет, что

*Верить снам – позорно и смешно, ой,  
Не слушайте. Вещие сны бывают.*

И вот, пересек человек без лица маленький дворик-сад, укрытый ветвями, и прямо подошел к заветной двери. Дверь распахнулась перед ним сама собой и впустила человека к Юлии в дом. «Вот оно что, – в бешеной злобе во сне подумал Турбин, – вот оно что. Убью его».

За ним, в дверь, в гостиную. И видит, целует Юлию неизвестный заколдованный Онегин. И лица опять нет. А Юлия зубы оскалила, улыбается, любовь у нее на лице. Турбин знал, что ревность бессмысленна. Револьвером не добудешь любовь. Покорил Юлию неизвестный безликий. А он, Турбин, не мог – что же сделаешь... но это наяву. А во сне злая злоба. Убью! Эх, доктор Турбин. Не нужно, забудьте Юлию, бросьте, плохая она женщина! Ждут вас лучшие, хорошие<sup>28</sup>.

Он врывается в гостиную вслед за Онегиным и видит: целует Онегин Юлию и валит ее на диван. Сует руку в карман Турбин, вытаскивает браунинг. Юлия в ужасе кричит, Онегин поворачивается, и вот, все-таки лица у него нет. Мелькнули пурпуровые губы, покажется нос, но нельзя их слить в целое. Не составляется целое лицо никак. И браунинг изменяет Турбину: жмет он гашетку, а она сгибается, как восковая свеча в руках, скрипит браунинг, пружина внутри его воет, а не стреляет. Безликое же лицо становится грозным и опасным. Опасен этот окаймленный баками Онегин, и чувствуется за ним грозная поддержка. Ни звука не произносит коварный Онегин, но Турбин уже чувствует, что пришла чрезвычайная комиссия по его, турбинскую, душу. Озирается Турбин, как волк, – что же он делать-то будет, если браунинг не стреляет? Голоса смутные в передней – идут. Идут! Чекисты идут. И начинает Турбин отступать и чувствует, что подлый страх заползает к нему в душу. Что ж!.. Страшная ревность, страстная неразделенная любовь и измена, но Че-ка – страшнее всего на свете<sup>29</sup>.

– Ах, ты... – хрипит Турбин Юлии. –

*Хожу ли я,  
Брожу ли я,  
Плмю ли я!  
Все Юлия да Юлия!! –*

и грозит пистолетом. Но что значит нестреляющий пистолет! И отступает Турбин в дверь, дверь проваливается в черную мрачную дыру-сарай, а в конце его загорается свет: с фонарями идут – ищут Турбина. И ужаснее всего то, что среди чекистов один в сером, в папаше. И это тот самый, которого Турбин ранил в декабре на Мало-Провальной улице. Турбин в диком ужасе. Турбин ничего не понимает. Да ведь тот был петлюровец, а эти чекисты-большевики?! Ведь они же враги? Враги, черт их вовьми! Неужели же теперь они соединились<sup>30</sup>? О, если так, Турбин пропал!

<sup>28</sup> Далее вычеркнута фраза: «Будут они у вас на пути, но не здесь, а далеко на теплом юге, куда кинет вас судьба». В тексте слово пропущено.

<sup>29</sup> ...пришла чрезвычайная комиссия по его, турбинскую, душу... Че-ка – страшнее всего на свете. – Булгаковы в течение десятков лет не обронили ни единого слова об этом жутком периоде своей жизни в Киеве. Известно лишь, что Михаил с братьями некоторое время спасался в лесах... О кровавых злодеяниях киевской ЧК в тот период см., например: «Воспоминания... князя Н. Д. Жевахова». Т. 2 // Новый сад, 1928; Шульгин В. В. «Что нам в них не нравится...». Париж, 1929.

<sup>30</sup> Да ведь тот был петлюровец, а эти чекисты-большевики?! Ведь они же враги?.. Неужели же теперь они соединились? – Конечно, этот фрагмент текста не мог появиться в то время в печати. Видимо, к счастью для Булгакова. Ибо после выхода романа в свет в шквале «критики» явно просматривалась тенденция доказать, что в лице петлюровцев писатель показал большевиков.

– Берите его, товарищи! – рычит кто-то. Бросаются на Турбина. – Хватай его! Хватай! – орет недостреленный окровавленный оборотень. – Тримай його! Тримай!

Все мешается. В кольце событий, сменяющих друг друга, одно ясно – Турбин всегда при пиковом интересе, Турбин всегда и всем враг. Турбин холодеет.

Просыпается. Пот. Нету! Какое счастье. Нет ни этого недостреленного, ни чекистов, никого нет.

На стуле у постели мирно и ровно горит лампочка, выстукивают часики, лежит портсигар. Тепло в комнате. А на столе в тени стоит на блестящем подрамнике в лакированной раме Юлия. В тени.

– Во-первых... во-первых, – бормочет Турбин, – что же это я сплю... а как же петлюровцы? А вдруг придет за мной?

Он тянется к часикам. На них без четверти пять. Ночь совершенно спокойна, и сонную дрему не колышет ничто. Плывет слоистый дым от папиросы Турбина. Папироса потухла сама собой во рту. Выронил ее Турбин, она упала и прожгла дыру в пятак в простыне. Потом края, потлев немного, угасли. Турбин оказался в глубоком сне. Портрет же Юлии бессонной все стоял в резкой тени и глубокими подведенными глазами глядел на спящего любовника.

---

Ночь расцветала и расцветала. Тянуло к утру, и погребенный под мохнатым снегом спал дом. Истерзанный Василиса спал в холодных простынях, согревая их своим похудевшим телом. Видел Василиса сон нелепый и круглый. Будто бы никакой революции не было, все это была чепуха и вздор. Во сне. Сомнительное, зыбкое счастье наплывало на Василису. Будто бы лето, и вот Василиса купил огород. Моментажно выросли на нем огурцы. Грядки покрылись веселыми зелеными завитками, и зелеными шишами в них выглядывали огурцы. Василиса в парусиновых брюках стоял и глядел на милое заходящее солнышко, почесывая живот, и бормотал:

– Так-то оно лучше... А то революции. Нет, знаете ли, с такими свиньями никаких революций производить нельзя<sup>31</sup>...

Часы... а?

Тут Василисе приснились взятые круглые, глобусом, часы: Василисе хотелось, чтобы ему стало жалко, но солнышко так приятно сияло, что жалости не получалось.

И вот в этот хороший миг какие-то розовые круглые поросята влетели на огород и тотчас пятачковыми своими мордами взрыли грядки. Фонтанами полетела земля. Василиса подхватил с земли палку и собирался гнать поросят, но тут же выяснилось, что поросята страшные – у них острые клыки. Они стали наскакивать на Василису, причем подпрыгивали на аршин от земли, потому что внутри у них были пружины. Василиса взвыл во сне. Черным боковым косяком накрыло поросят, они провалились в землю, и перед Василисой всплыла черная, сыроватая его спальня...

---

Ночь расцветала. Сонная дрема прошла над Городом, мутной белой птицей пронеслась, минуя стороной сияющий крест Владимира, упала за Днепром в самую гущу ночи и поплыла вдоль железной дуги. Доплыла до станции Дарницы и задержалась над ней. На третьем пути стоял бронепоезд. Наглухо, до колес, были зажаты вагоны в серую броню. Паровоз чернел многогранной глыбой, из брюха его вывалился огненный плат, разлегся на рельсах, и со стороны казалось, что утроба паровоза набита раскаленными углями. Он сипел тихонько и злобно, сочилось что-то в боковых стенках, тупое рыло его молчало и шурилось в приднепровские леса. Закрытые

---

<sup>31</sup>...с такими свиньями никаких революций производить нельзя... – Ср.: «...яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране...» (Из письма правительству, 28 марта 1930 г.).

площадки, где сквозь щели-амбразуры торчали пулеметы и острые иглы света, переходили в последнюю тяжкую открытую площадку. С нее в высь, черную и синюю, широченное дуло в глухом наморднике целилось верст на двенадцать прямо в полночный крест.

Станция в ужасе замерла. На лоб надвинула тьму, и светились на ней осовевшие от вечернего грохота глазки желтых огней. Суeta на ее платформах была непрерывная, несмотря на предутренний час. В низком желтом бараке телеграфа три окна горели ярко, и слышался сквозь стекла непрекращающийся стук трех аппаратов.

По платформе бегали взад и вперед, несмотря на жгучий мороз, фигуры людей в полушубках по колено, в шинелях и черных бушлатах. В стороне от бронепоезда и сзади, растянувшись, не спал, переключался и гремел дверями теплушек эшелон. Били снопы света да черные рельсы и шпалы, усеянные по снегу разноцветным шлаком. Торчали пистолетные дула из кобур, мотались сумки.

А у бронепоезда, рядом с паровозом и первым железным корпусом вагона ходил, как маятник, человек в длинной шинели, в рваных валенках и остроконечном куколе-башлыке. Винтовку он нежно лелеял на руке, как уставшая мать ребенка, и рядом с ним ходила меж рельсами, под скупым фонарем, по снегу острая щепка черной тени и теневой беззвучный штык. Человек очень сильно устал и зверски нечеловечески озяб. Руки его, синие и холодные, тщетно рылись деревянными пальцами в рвани рукавов, ища убежища. Из окаймленной белой накипью и бахромой неровной пасти башлыка, открывавшей мохнатый обмороженный рот, в верхней части глядели глаза над снежными космами ресниц. Глаза эти были голубые, страдальческие, сонные, томные.

Человек ходил методически, свесив штык, и думал только об одном, когда же истечет, наконец, морозный час пытки и он уйдет с озверевшей от мороза земли во внутрь, где божественным жаром пышут трубы, греющие теплушки бронепоезда, где в тесной конуре он сможет свалиться на узкую койку, прильнуть к ней и на ней распластаться. Человек и тень ходили от огненного выплеска броневых брѳуха к темной стене первого боевого ящика до того места, где чернела надпись:

### БРОНЕПОЕЗД «ПРОЛЕТАРИЙ»

Тень, то вырастая, то уродливо горбатясь, но неизменно остроголовая, рыла снег своим черным штыком. Голубоватые лучи фонаря висели в тылу человека. Две голубоватые луны, не грея и дразня, горели на платформе. Человек искал хоть какого-нибудь огня и нигде не находил его; стиснув зубы, потеряв надежду согреть пальцы ног, шевеля ими, неуклонно рвался взором к звездам. Удобнее всего ему было смотреть на звезду Венеру, сияющую в небе впереди над Слободкой. И он смотрел на нее. От его глаз шел на миллионы верст взгляд и не упускал ни на минуту красноватой живой звезды. Она сжималась и расширялась, явно жила и была пятиконечная. Изредка, истомившись, человек опускал винтовку прикладом в снег, остановившись, мгновенно и прозрачно засыпал. Черная стена бронепоезда не уходила из этого сна, и не уходили и некоторые звуки со станции. Но к ним присоединялись новые. Вырастал во сне небосвод невиданный... Весь красный, сверкающий и весь одетый Венерами в их живом сверкании. Душа человека мгновенно наполнялась счастьем. Выходил неизвестный, непонятный всадник в кольчуге и братски наплывал на человека. Кажется, совсем собирался провалиться во сне черный бронепоезд, и вместо него вырастала в снегах зарытая деревня Малые Чугры, и почему-то настойчиво. Он, человек, у околицы Чугров, а навстречу ему идет сосед и земляк.

– Жили[н?] – говорил беззвучно без губ мозг человека, и тотчас грозный сторожевой голос в груди выстукивал три слова:

### Пост... часовой... замерзнешь...

Человек уже совершенно нечеловеческими усилиями отрывал винтовку, вскидывал на руку, шатнувшись, отдирает ноги и шел опять.

Вперед-назад. Вперед-назад. Исчезал небосвод, исчезал, опять одевало весь морозный мир шелком неба, продырявленного черным и губительным хоботом орудия. Играла Венера красно-

ватая, а от голубой луны фонаря временами поблескивала на груди человека ответная звезда. Она была маленькая и тоже пятиконечная.

---

Металась и металась потревоженная дрема. Лётом вдоль Днепра. Пролетела мертвые пристани и понеслась над Подолом. На нем давно уже, очень давно погасли все окна. Все спали. Только на углу Волынской в трехэтажном каменном здании, в квартире библиотекаря, в узенькой, как дешевый номер дешёвенькой гостиницы, сидел голубоглазый Русаков у лампы под стеклянным горбом колпака. Пред Русаковым лежала тяжелая книга в желтом кожаном переплете. Глаза шли по строкам медленно и торжественно.

«И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и Книги раскрыты были, и иная Книга раскрыта, которая есть Книга Жизни; и судимы были мертвые по написанному в Книгах, сообразно с делами своими.

Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим.

.....  
И кто не был записан в Книге Жизни, тот был брошен в озеро огненное.

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет».

По мере того как он читал потрясающую книгу, ум его становился как сверкающий меч, углубляющийся в тьму.

Болезни и страдания казались ему неважными, несущественными. Недуг отпал, как короста с забытой в лесу отсохшей ветви. Он видел синюю, бездонную мглу веков, коридор тысячелетий. И страха не испытывал, а мудрую покорность и благоговение. Мир становился в душе, и в мире он дошел до слов:

«...слезу с очей их, и смерти не будет уже;  
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет,  
ибо прежнее прошло».

---

Смутная мгла расступилась и пропустила к Елене поручика Шервинского. Размасленные волосы стояли дыбом. Выпуклые глаза развязно улыбались.

– Честь имею, – сказал он, щелкнув каблуками, – командир стрелковой школы – товарищ Шервинский.

Он вынул из кармана огромную сусальную звезду и нацепил ее на грудь с левой стороны. Туманы сна ползли вокруг него, его лицо из клуба входило ярко-кукольным.

– Это ложь, – вскричала во сне Елена. – Вас стоит повесить.

– Не угодно ли, – ответил кошмар. – Рискните, мадам.

Он свистнул нахально и раздвоился. Левый рукав покрылся ромбом, и в ромбе запылала вторая звезда – золотая. От нее брызгали лучи, а с правой стороны на плече родился бледный уланский погон. Правая стала <...><sup>32</sup>, левая в рыжем френче. Правая нога в синей тонкого сукна рейтузе с кантами, левая в черной. И лишь сапоги были одинаковые блестящие, неподражаемые тонные...

– Сапоги фасонные, – запел Николка под гитару.

На голове был убор двусторонний.

Левая его половина защитно-зеленая с половиной красной звезды, правая ослепительно

---

<sup>32</sup> В тексте слово пропущено.

блестящая с <...><sup>33</sup>.

– Поеду, – во сне сказала Елена с презрением и ужасом.

– Искусник, – ответил Шервинский.

– Кондотьер! Кондотьер! – кричала Елена.

– Простите, – ответил двуцветный кошмар, – всего по два, всего у меня по два, но шея-то у меня одна, и та не казенная, а моя собственная. Жить будем.

*А смерть придет,  
Помирать будем... –*

пропел Николка и вышел.

В руках у него была гитара, но вся шея в крови, а на лбу желтый венчик с иконками. Елена мгновенно поняла, что он умрет, и горько зарыдала и проснулась с криком в ночи.

И ночь все плыла да плыла.

---

И, наконец, Петька видел сон.

Петька был маленький, поэтому он не интересовался ни большевиками, ни Петлюрой, ни любовью взрослых. Поэтому и сон привиделся ему простой и радостный, как солнечный шар.

Будто бы шел Петька по зеленому большому лугу, а на том лугу лежал сверкающий алмазный шар, больше Петьки. Во сне взрослые, когда им нужно бежать, прилипают к земле, стонут и мучатся, пытаясь оторвать ноги от трясины. Детские же ноги и резвы и свободны. Петька добежал до алмазного шара и, всхлипнув от радостного смеха, обхватил его руками. Шар обдал Петьку дождем сверкающих брызг. Вот и весь сон Петьки. От удовольствия Петька расхохотался в ночи. И ему весело стрекотал сверчок за печкой. Петька стал видеть иные, но те же легкие и радостные сны, а сверчок пел и пел свою песню, где-то в щели, в белом углу и за ведром, <...><sup>34</sup> бормочущую ночь в семье во флигеле.

Снаружи ночь расцветала и расцветала. Во второй половине ее вся тяжелая синева, занавесь Бога, облекающего мир, покрылась звездами. Похоже было, что в неизмерной высоте за этим синим пологом у царских врат служили всенощную. В алтаре зажигали и зажигали огоньки, и они проступали на занавесе отдельными трепещущими огнями и целыми крестами, кустами и квадратами. Над Днепром с грешной и окровавленной и снежной земли поднимался в черную мрачную высь полночный крест Владимира. Издали казалось что поперечная переключина исчезла – слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч.

Но он не страшен. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Звезды будут так же неизменны, так же трепетны и прекрасны. Нет ни одного человека на земле, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим мира, не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?

**К о н е ц**

**Комментарии. В. И. Лосев**

**Окончание романа «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»**

***Ранняя редакция***

---

<sup>33</sup> В тексте слово пропущено.

<sup>34</sup> В тексте слово пропущено.

При жизни автора публиковались в периодике лишь отрывки из окончания романа. Глава девятнадцатая впервые была опубликована – Новый мир. 1987. №2 (с разночтениями). Финальная часть романа впервые – Слово. 1992. № 7.